

Лорд Дансени

Рассказы о войне



Лорд Дансени

Рассказы о войне

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=160799

Оригинал: LordDunsany, "Tales of War"

Перевод:

Александр Сорочан

Аннотация

Тексты этого сборника отражают патриотический настрой, царивший в английской литературе в 1914–1916 гг. С точки зрения «чистого искусства» Дансени по-прежнему эффектен, но сужение тематики не прошло бесследно. Пожалуй, наиболее устаревшая книга писателя, представляющая тем не менее значительный историко-культурный интерес. Это не журнальная словесность, а своеобразная лирика, «стихотворения в прозе» военного времени.

Содержание

| | |
|---|----|
| Молитва жителей Дэйлсвуда | 5 |
| Дорога | 15 |
| Имперский монумент | 19 |
| Прогулка по траншеям | 23 |
| Прогулка в Пикардии | 27 |
| Что случилось в ночь на двадцать седьмое | 31 |
| Готовы к бою | 35 |
| Удивительный странник | 37 |
| Англия | 40 |
| Снаряды | 44 |
| Два вида зависти | 48 |
| Хозяин нейтральной полосы | 51 |
| Сорняки и колючая проволока | 53 |
| Весна в Англии и во Фландрии | 56 |
| Кошмарные Страны | 59 |
| Весна и Кайзер | 63 |
| Две песни | 65 |
| Наказание | 68 |
| Английский Дух | 74 |
| Исследование причин и происхождения Войны | 79 |
| Потерянный | 85 |
| Последний мираж | 88 |
| Знаменитость | 92 |

| | |
|---------------------------|-----|
| Оазисы Смерти | 96 |
| Англо-саксонская тирания | 98 |
| Движение | 105 |
| Хам от природы | 109 |
| Дом герра Шнитцельхассера | 114 |
| Милосердие | 120 |
| Самая последняя сцена | 123 |
| Старая Англия | 127 |
| От переводчика | 131 |

Лорд Дансени

Рассказы о войне

Молитва жителей Дэйлсвуда

Он рассказал: «В Дэйлсвуде было только двадцать домов. Вряд ли вы слышали об этом месте. Обычная деревенька на вершине холма...

Когда началась война, там было не больше тридцати мужчин в возрасте от шестнадцати до сорока пяти. И все они отравились воевать.

Все они оказались вместе: один и тот же батальон, один и тот же взвод. Они как будто снова вернулись в Дэйлсвуд. Называли перелетными птицами и чужаками тех, которые прибывали из Лондона. Такие люди проходили мимо Дэйлсвуда, некоторые из них проходили каждый год, направляясь к полям, где требовались сборщики урожая. Тогда их чаще всего и называли чужаками. Они были сами по себе, эти обитатели Дэйлсвуда.

Огромный лес окружал их со всех сторон.

Они были очень удачливы, эти люди из Дэйлсвуда. Они потеряли всего пять человек убитыми и добрый десяток ранеными. Но все раненые вернулись в строй. Так продолжалось до начала большого мартовского наступления.

Оно началось внезапно. Никаких бомбардировок. Просто Ток Эммас дали общий залп, и прифронтовые траншеи опустели; потом артиллерия ударила по тылам, и боши хлынули вперед тысячами.

„Наша удача по-прежнему с нами“, сказали обитатели Дэйлсвуда, поскольку их траншеи это не коснулось вообще. Но взвод справа от них принял удар на себя. И это выглядело плохо – даже издали. Никто не мог поточнее описать происходящее.

Но взвод справа принял удар: это было совершенно точно.

И затем боши прошли мимо них. Из штаба пришло донесение об этом. „Какие новости справа?“ – спросили они у вестового. „Плохие“, сказал вестовой и возвратился, хотя Бог знает, куда он возвратился. Боши зашли справа достаточно далеко. „Мы должны подготовить фланговую оборону“, сказал командир взвода. Он тоже был человеком из Дэйлсвуда. Пришел с большой фермы. Он пробрался по траншее связи с несколькими солдатами, главным образом бомбардирами. И оставшиеся должны были понять, что больше никого из ушедших не увидят, поскольку боши справа слетались, как скворцы.

На них обрушивались все новые залпы, в то время как боши прорывались справа: конечно, у них были пулеметы. Заградительный огонь был силен; снаряды рвались далеко позади, а колючая проволока оказывалась у них прямо перед глазами, когда они поднимали головы, чтобы оглядеться.

Это был фланговый взвод батальона. Так или иначе, никто не станет беспокоиться о чужом батальоне, как о своем собственном. Свой батальон становится чем-то вроде дома. А потом они удивились, куда подевался их собственный офицер и немногие парни, отправившиеся с ним на фланг.

Бомбы все летели на них. Все мужчины из Дэйлсвуда стреляли направо. Судя по шуму, как будто это не могло длиться долго, казалось, что скоро наступит перелом, и сражение будет выиграно или проиграно, прямо там, справа, возможно, и закончится война. Они не смотрели налево.

И не о чем больше говорить.

Потом слева примчался вестовой. „Привет!“ сказали они, „как там дела?“

„Боши прорвались“, ответил он. „Где офицер?“ „Тоже прорвался!“ – откликнулись они. Это казалось невозможным. Однако он сделал это? Они так и думали. И вестовой двинулся вправо, продолжая искать офицера.

А затем линия огня отодвинулась еще дальше назад. Снаряды все еще проносились над их головами, но взрывы звучали гораздо тише. Это всегда казалось облегчением.

Вероятно, они почувствовали нечто подобное. Но все равно было плохо. Очень плохо. Это означало, что боши уже значительно обошли их. Они поняли это через некоторое время.

Они и их отрезок колючей проволоки, во всяком случае, оказались прямиком между двумя волнами нападения. По-

добно камням на пляже, на который набегают морской прилив. Взвод был ничто для бошей; ничем большим они не были и для всех остальных. Но это был весь Дэйлсвуд – целое поколение.

Самому юному из взрослых мужчин, которых они оставили дома, исполнилось пятьдесят, и кто-то слышал, что он умер вскоре после начала войны. Не осталось в Дэйлсвуде больше никого, кроме женщин, детей и мальчиков младше семнадцати.

Бомбежка справа от них прекратилась; все приутихло, и заградительный огонь, казалось, совершенно отдалился. Когда они начали понимать, что это означает, то заговорили о Дэйлсвуде. А затем они подумали, что, когда все погибнут, не останется никого, кто запомнил бы Дэйлсвуд таким, каким он был. Ведь места понемногу изменяются, лес растет, изменения все прибывают, деревья вырубают, старики умирают; новые здания время от времени строятся на месте тиловых деревьев или других старых вещей, которые стояли там прежде; так или иначе все старое уходит; и вы всегда можете встретить людей, думающих, что старые времена были лучше, как и старые тропы, по которым они бродили в молодости. И люди из Дэйлсвуда заговорили: „Кто же тогда запомнит, каким все было?“

В это время не было газовой атаки (ветер ей бы помешал), но они могли говорить только в том случае, если громко кричали: одни только пули причиняли столько же шума, сколь-

ко разрушение старого навеса, но этот шум был более резким и скорее походил на звук падающих деревьев. И снаряды, конечно, выли все время, на линии огня далеко в тылу раздавались взрывы. Пороховая гарь все еще чувствовалась в траншее.

Они сказали, что один из них должен пробежаться и поднять руки, или убежать, если сможет решить, что ему больше по душе; а когда война закончится, он пойдет к какому-нибудь владеющему пером парню, одному из тех, кто зарабатывает этим на жизнь, и поведаст ему все о Дэйлсвуде, таком, каким он был, и тот парень запишет все надлежащим образом, и тогда Дэйлсвуд сохранится навеки. Все они согласились на это. Затем они немного поговорили, насколько могли среди упомянутого выше ужасного визга, попытавшись обсудить и решить, кто это должен быть. Старейший, решили они, знает Дэйлсвуд лучше всего. Но он сказал, и они согласились с ним, что это будет своего рода напрасная трата – спасти жизнь человека, который уже прожил свои лучшие годы. Они должны послать самого молодого, сообщив ему все, что знают о Дэйлсвуде до его рождения, и все будет записано в равной степени, и старое время останется в памяти.

Они как-то пришли к выводу, что женщины думали больше о своих мужчинах, о своих детях, о стирке и всяком прочем; и тот бескрайний лес, и большие холмы, и пашня, и урожай, и кролики, попавшие в ловушку зимой, и спортивные состязания в деревне летом, и сотня вещей, которые состав-

ляют жизнь одного поколения в старом, старом месте вроде Дэйлсвуда, означают для женщин гораздо меньше, чем их мужчины. Во всяком случае, они, казалось, не совсем доверяли женщинам в смысле прошлого.

Самому молодому из них только что минуло восемнадцать. Это был Дик. Они велели ему выйти, поднять руки и быстро преодолеть расстояние, как только поведают ему пару-тройку вещей о старых временах Дэйлсвуда, о том, что юноша вроде него не может знать.

Ну, Дик сказал, что он не пойдет, и причинил немало неприятностей этим, так что они велели пойти Фреду. Назад, сказали ему, идти лучше, и подходить к бошам надо с поднятыми руками; маловероятно, что они начнут стрелять, если это будет в их собственном тылу.

Фред не пошел, не пошли и остальные. Что ж, они не стали впустую тратить время на ссоры, времени и так не хватало, и они подумали: что же надо делать? Внизу, в траншее нашелся мел и немного коричневой глины над ним. Большой кусок свободно лежал у ограждения. Они сказали, что вырежут своими ножами на большом меловом булыжнике все, что знают о Дэйлсвуде. Они напишут, где он был и когда, что собой представлял, и они напишут кое-что про все те мелочи, которые исчезают с каждым поколением. Они рассчитывали, что времени на это хватит. Нужно прямое попадание чего-то очень большого, что они называют здоровой штуковиной, чтобы нанести какой-нибудь вред этой глыбе. Они не

доверяли бумаге, она так портилась, когда попадали в людей; кроме того, боши использовал термит. А он горит.

Там были двое или трое мужчин, которые наловчились резать на меле, привыкли работать с полковыми крестами, изображениями Гинденбурга и всем прочим. Они решили, что сделают это с легкостью.

Они начали полировать мел. Им нечего было теперь делать, разве только думать, что же написать. Это был большой-пребольшой булыжник, на котором оставалось много места. Боши, казалось, не знали, что не уничтожили людей из Дэйлсвуда, как море не могло бы знать, что один камень остался сухим, когда начался прилив. Вероятно, в промежутке между двумя волнами – или двумя дивизиями.

Гарри хотел рассказать о лесах больше, чем обо всем прочем. Он боялся, что их могут вырубить из-за войны, и никто не узнает о жаворонках, которые там водились в годы его детства. Замечательный старый лес там был, с большим количеством низких испанских каштанов и высоких старых дубов.

Гарри хотел, чтобы они записали, на что похожи дикие розы в лесу вечерами в конце лета. „Длинные торжественные ряды“, сказал он, „все такие нечеткие в сумраке. Так странно было вечером идти там после работы; это заставляло думать о феях“. Много об этом лесе, сказал он, следует вырезать на камне, чтобы люди запомнили Дэйлсвуд, запомнили таким, каким он был в прежние времена. „Разве были бы так же хо-

роши старые деньки без того леса?“ сказал он.

Но другой хотел поведать о времени, когда они выходят на сенокос, работая все те долгие дни в конце июня; ничего подобного больше не будет, сказал он, машины появятся и все исчезнет без следа.

Найдется место для всего этого и для леса тоже, сказали другие, если они постараются сократить рассказ.

Кто-то другой захотел поведать о долинах за лесом, о далеких краях, куда мужчины отправлялись на заработки; женщины должны запомнить сенокосы.

О больших долинах говорил он. Это они создали Дэйлсвуд. Долины за лесом и летние сумерки среди них. Склоны, заросшие мятой и тимьяном, такие торжественные по вечерам. Заяц усаживался на них, возможно, как будто они принадлежали ему, а потом медленно скакал дальше.

Судя по тому, как он рассказывал о старых долинах, можно было поверить, что они могли когда-то принадлежать другому народу, который обитал рядом с людьми Дэйлсвуда в те дни, которые рассказчик хорошо помнил. Он говорил так, как будто в долинах скрывалось нечто, помимо мяты, и тимьяна, и сумерек, и зайцев, скрывалось то, чего не станет, когда исчезнут эти люди, хотя он и не сказал, что же это было. Только намекнул...

И все это время боши не делали ничего людям из Дэйлсвуда. Ружейный огонь вообще прекратился. Стало гораздо тише. Снаряды все еще рычали и рвались далеко-далеко.

И Боб рассказал о самом Дэйлсвуде, о старой деревне с покосившимися дымоходами из красного кирпича, о деревне в глухом лесу. Не было подобных домов в настоящее время. Будут построены новые, вероятно, после войны. И это все, что он хотел сказать.

И ни один из них не возражал на предложения других. Все это должно было остаться на меле, столько, сколько они успеют записать. Поскольку они все понимали, что Дэйлсвуд той эпохи, которую они называли добрым старым времечком, был только воспоминанием, которое эти несколько человек сохранили о днях, проведенных там вместе. И таков был Дэйлсвуд, который они любили и хотели сбересть в памяти людской. Они все согласились. И затем они сказали, как следовало это записать. Но когда дело дошло до записи, следовало так много сказать, я имею в виду не то, что требовалось очень много бумаги, а то, что потребна была такая глубина, на которую они не считали себя способными. Их речь не подошла бы для этого. Но они не знали никакого другого языка и не знали, что делать. Я полагаю, они читали журналы и думали, что их послание должно быть похоже на эту дрянь. Так или иначе, они не знали, что делать. Я полагаю, их речь была бы достаточно хороша для Дэйлсвуда, если они так любили свой Дэйлсвуд. Но они так не считали и потому пребывали в раздумьях.

Боши теперь были в нескольких милях позади них и их заграждения.

А впереди все еще ничего не происходило.

Они обсуждали это снова и снова, люди из Дэйлсвуда. Они испытали все. Но так или иначе они не могли добраться до того, что хотели сказать о старых летних вечерах. Время шло. Булыжник был гладок и готов к записи, но целое поколение дэйлсвудских обитателей не могло найти ни слова, чтобы передать все, что их сердца испытывали при слове „Дэйлсвуд“. Не следовало терять время попусту. И единственная вещь, о которой они подумали в конце, была такой: „Пожалуйста, Боже, запомни Дэйлсвуд точно таким, каким он был“. И Билл и Гарри вырезали это на меловой глыбе.

Что случилось с людьми из Дэйлсвуда? Да ничего. Началось одно из этих контрнаступлений, регулярных проклятий для „Джерри“. Французы устроили его и здорово уделали бошей. Я узнал эту историю от человека с адски большим-пре-большим молотком гораздо позднее, когда та траншея оказалась далеко за нашей линией фронта. Он разбил огромный кусок мела, потому что, по его словам, они все почувствовали: это было настолько чертовски глупо».

Дорога

Батарейный старший сержант почти заснул. Он был измотан непрерывным ревом бомбардировок, которые сотрясали блиндажи и лишали его умственных способностей уже многие недели. Он был сыт всем этим по горло.

Офицер, командующий батареей, молодой человек благородного происхождения в очень опрятной униформе, подошел и плюнул ему в лицо. Старший сержант тотчас же подскочил, получил приказ, сразу схватил дубинку и начал лупить утомленных людей. Ведь в батарею пришла депеша, что какие-то англичане (накажи их Бог!) сооружали дорогу в Х.

Орудие выстрелило. Это был один из тех неудачных выстрелов, которые случались в дни, когда удача отворачивалась от нас. Снаряд калибра 5. 9 разорвался посреди британской рабочей партии. Это не принесло немцам ничего хорошего. Попадание не остановило потока снарядов, которые разнесли их орудие и клином вбили отчаяние в их души. Попадание не улучшило и характер офицера, командующего батареей, так что люди страдали от старшего сержанта как никогда. Но попадание остановило в тот день дорожные работы.

Я, кажется, представлял себе, как продолжалась та дорога.

Другая рабочая партия пришла на следующий день с глиняными трубами и принялась за работу; и так было на сле-

дующий день и через день. Снаряды рвались вокруг, но чаще не долетали или перелетали; воронки после взрывов аккуратно засыпались; дорога строилась. Здесь и там приходилось рубить деревья, но не часто, многие из них оставались на местах; большей частью солдаты копали, выкорчевывали корневища, толкали по настилам тачки и заполняли их камнями.

Иногда появлялись инженеры: это происходило в тех случаях, когда надо было пересечь поток. Инженеры возводили мосты, и рабочие-пехотинцы продолжали рытье и укладку камней. Это была монотонная работа. Контуры менялись, почва менялась, менялись даже скалы под ними, но пустошь оставалась; они всегда работали среди разрушения и грохота. И так строилась дорога.

Они миновали широкую реку. Они миновали огромный лес. Они миновали руины того, что когда-то должно быть, было прекрасными городами, огромными процветающими городами с университетами. Я видел рабочих-пехотинцев с их грязными глиняными трубами, видел в своих мечтах, вдалеке от того места, где разорвался снаряд, остановивший строительство дороги на один день. И за ними любопытные изменения происходили на дороге в Х. Можно было разглядеть пехоту, движущуюся к траншеям и возвращающуюся обратно в резерв. Сначала солдаты маршировали, но через несколько дней они появились уже в машинах, в серых автобусах с затемненными окнами. И затем прошли пушки, ми-

ли и мили пушек, после чего канонада, доносившаяся из-за холмов, стала мало-помалу стихать. А потом однажды промчалась конница. Потом были фургоны с припасами, а грохот орудий доносился совсем уже издалека. Я увидел телеги фермеров, катящиеся по дороге в Х. А потом появились лошади разных мастей, и повозки разных размеров, и смеющиеся люди – фермеры, женщины и дети, направлявшиеся к Х. Начиналась ярмарка.

И дорога становилась все длиннее и длиннее посреди обычных опустошения и грохота. И однажды вдали от Х дорога стала по-настоящему прекрасной. Она гордо проходила через могущественный город, она текла подобно реке; вы никогда бы не подумали, что когда-то здесь были только деревянные настилы.

Появились там большие дворцы с высеченными в камне огромными геральдическими орлами, по обеим сторонам дороги выстроились статуи королей. И по дороге ко дворцу, мимо статуй королей, медленно и устало двигалась торжественная процессия, несшая флаги Союзников. И я смотрел на флаги во сне, из национальной гордости желая непременно увидеть, кто идет впереди – мы, Франция или Америка. Америка шествовала перед нами, но я не мог разглядеть ни государственный флаг Соединенного Королевства, ни триколор, ни звездно-полосатый вымпел: впереди шла Бельгия, а затем Сербия – те, кто пострадал больше всего.

И я видел, как перед флагами, перед генералами марши-

ругают призраки рабочей бригады, уничтоженной в Х, в восхищении пристально осматривая огромный город и дворцы. И один человек, пораженный зрелищем Аллеи Победы, обернулся к капралу, замыкавшему партию. «Мы построили прекрасную дорогу, Фрэнк», сказал он.

Имперский монумент

Раннее лето, утро; вся Франция покрыта росой; поезд идет на восток. Они движутся очень медленно, эти военные поезда, и так мало дорог и перекрестков на проносящихся мимо пустынных равнинах, что по ним, кажется, человек может бродить всю жизнь, никого не встретив. Дороги ведут прямо к рельсам, и солнце ярко освещает фермы и людей, собирающихся работать у дороги, так что можно явственно различить их лица, пока поезд медленно катится мимо.

Только женщины и мальчики работают на фермах; иногда, возможно, вы можете увидеть глубокого старика, но чаще всего там трудятся женщины и мальчики; они рано выходят в поле. Они направляются на работу, пока мы проезжаем мимо, и поднимают руки, благословляя нас.

Мы проезжаем длинные ряды высоких французских тополей, ветви обрезаны на всех стволах, остались только странные круглые отростки на верхушках деревьев; но кое-где на стволах уже проросли новые отростки, и тополя выглядят неряшливо. Молодые люди срезают ветки тополей. Они делают это ради какой-то значительной экономической цели, которая мне неизвестна; они срезают ветки потому, что их всегда так срезали, уже в те времена, о которых рассказывают французские старцы; но в основном, полагаю, потому, что молодые люди находят удовольствие в том, чтобы подни-

маться по ровным стволам; именно поэтому они подрезают ветки так высоко. Но все стволы теперь выглядят неопрятно.

Минуем мы и множество ферм с красивыми домиками под красными крышами; они стоят там, храня аромат древности; они были бы вполне уместны в любой романтической истории, которая могла бы еще случиться в действительности, или в романе, который остался в долгой истории Франции; и девушки из тех домиков с красными крышами одни работают в полях.

Мы проезжаем заросли ивняка и достигаем огромного болота. В плоскодонке на открытой воде старик ловит рыбу. Мы снова проезжаем поля, а затем – густой лес. Франция улыбается вокруг нас в лучах солнечного света.

Но к вечеру мы пересекаем границу этой милой страны и попадаем в печальную землю разрушения и мрака. Не только потому, что убийства творились здесь долгие годы, пока все поля не стали зловещими, но самые поля были искалечены настолько, что утратили всякое сходство с настоящими полями, лес был разрушен до корней деревьев, и здания превратились в кучи мусора, а кучи мусора рассеяны снарядами. Мы не видим больше деревьев, нет больше зданий, нет больше женщин, нет даже животных. Мы попали в отвратительную пустошь. И над этим высится, и будет, вероятно, высится всегда, проклятое людьми и проклятое самыми полями, гиено-подобное напоминание о кайзере, который выбелил так много костей.

Это может отчасти удовлетворить его эгоизм: знание, что памятник не может исчезнуть; знание, что воронки от снарядов простираются слишком глубоко, чтобы их размыли многолетние дожди; знание, что растроченные впустую немецкие поколения не сумеют за сотни лет собрать то, что было пролито на Сомме, и что Франция восстанет в процветании многих лет от всех ужасов, причиной которых стало его дьявольское безумие. Это, вероятно, будет для него и ему подобным источником удовлетворения в тщетных заботах об одном – любой ценой привлечь всеобщее внимание. Они до истерики влюблены в самую мысль об этом, и внимание человечества для них – зеркало, которое отражает их бесполезные гримасы. Восхищение дураков им нравится, как и похвала забитых людей, но они скорее согласятся на ненависть человечества, чем на забвение, которого они только и достойны. Ибо истинные эгоисты заботятся только о собственных высокопревосходительных личностях.

Оставим же его, чтобы мысленно пройти от руин к руинам, от одних опустевших полей к другим, от воронки к воронке; пусть же его фантазии призраками бродят по кладбищам в пострадавших странах, чтобы найти то ликование, какое он сумеет отыскать в этом огромном проявлении его имперской воли.

Мы не можем знать, на какое наказание он осужден, и даже не можем предполагать, какое будет для него подходящим. Но время и место, конечно, назначены. Ничтожество,

дерзнувшее сразиться с Судьбой – кто еще может столь много бояться?

Прогулка по траншеям

Стоять в начале дороги всегда замечательно; поскольку на всех дорогах до того, как они заканчиваются, обнаруживается опыт, а иногда и приключение. Траншеи, подобно дорогам, тоже где-то берут начало. В сердце очень странной страны вы внезапно обнаруживаете их. Траншея может начинаться в руинах дома, может бежать из канавы; может быть прорыта во впадине, укрытой холмом; ее могут возвести многими способами самые разные люди. Относительно того, кто является лучшим строителем траншей, вряд ли могут возникнуть сомнения, и любой британский солдат, вероятно, признает, что по кропотливости работы и совершенству постройки найдется мало соперников фон Гинденбургу. Линия его имени – образец аккуратности и удобства, и только очень неблагодарный британский солдат станет отрицать это.

Вы попадаете в траншеи из странно опустошенных мест, возможно, вы минуете лес, искривленный в агонии, лес черных, лишенных листвы, могильных деревьев; а затем и деревья исчезают. Страна за ними все еще именуется Пикардией или Бельгией, все еще носит старое название на карте, как будто она по-прежнему нежится в солнечных лучах, полная городов, деревень, сияющих садов и палисадников, но страна под названием Бельгия – или как она еще именовалась –

исчезла, и на ее месте на мили протянулась одна из самых больших в мире пустынь, она теперь стоит в одном ряду не с веселыми краями, а с Сахарой, Гоби, Калахари и Кару; не стоит думать о ней как о Пикардии, гораздо лучше к ней подходит название Пустыня Вильгельма. Минуя эти печальные края, человек достигает траншей. Можно идти поверху, пока вдали не возникнет аэроплан с маленькими черными крестами; вы сможете с трудом разглядеть, как он парит на почтительной высоте, выискивая, какой еще вред можно причинить, опустошая и круша все вокруг. Редкие вспышки искрятся около него, белый дымок виден вокруг вспышек: и он уходит, и наши авиаторы мчатся за ним; черные затяжки вспыхивают вокруг наших машин. В небе слышится слабый перестук. Это взяли за дело пулеметы.

Вы увидите там много вещей, которые не вполне обычны в пустынях: хорошая ровная дорога, рельсовые пути, возможно, моторный автобус; вы увидите то, что было некогда деревней, и услышите английские песни, но человек, не видевший всего своими глазами, не сможет вообразить страну, в которой прорыты траншеи, если он явственно не представит себе пустыню, пустыню, которая передвинулась со своего места на карте некоторым очарованием колдовства и набросилась на милую страну.

Разве не чудесно быть кайзером и творить подобные дела? Мимо самых разных людей, но не мимо деревьев, оград или полей, только одно поле от горизонта до горизонта, ис-

терзанное войной, все идут рядом со спутниками, которых этот случай в нашей истории собрал со всех концов земли. На той дороге вы можете услышать за один переход, где лучшее место для завтрака в Сити; вы можете услышать, как взяла след какая-то свора ирландских гончих и что сказал хозяин; вы можете услышать, как тяжело фермер переживает урон, который носороги наносят его урожаю кофе; вы можете услышать цитаты из Шекспира и «Ла ви паризьен».

В деревне вы увидите многочисленные немецкие приказы с глупыми восклицательными знаками в конце, написанные на досках объявлений среди руин. Руины и немецкие приказы. Этот разворот фон Клюка у Парижа в 1914 году был ошибкой. Если б он не сделал этого, у нас могли бы повсюду остаться только руины и немецкие приказы. И все же фон Клюк может успокоить себя мыслью, что вовсе не его ошибками Судьба формирует мир: такой кошмар, как вселенское немецкое господство, не может воплотиться в жизнь.

За пределами деревни царствуют батареи. Большая гаубица у дороги медленно поднимает свою огромную пасть, стреляет и снова опускается, и вздымается вновь, и стреляет. Как будто Полифем медленно, неторопливо приподнял свое огромное тело со склона, на котором восседал, отшвырнул вершину горы и сел снова. Если гаубица стреляет довольно регулярно, вы можете быть уверены, что ощутите один из взрывов, пока идете, и тогда может подняться по-настоящему сильный ветер. Лошади, если она скачет, вряд ли это при-

дется по вкусу, но я видел лошадей, которые гораздо больше пугались вечерами луж на дороге при возвращении домой с охоты: одной 12-дюймовой гаубицей больше или меньше во Франции – это не привлекает особого внимания человека или животного.

И так мы достигаем траншей поддержки, где нам предстоит жить в течение недели, пока мы не продвинемся еще на милю по холмам – туда, где сейчас вздымаются черные фонтаны.

Прогулка в Пикардии

Представьте любую знакомую вам деревню. В такой деревне начинается траншея. То есть в канаве появляются дощатые настилы и канава переходит в траншею. Только деревни там больше нет. Она была похожа на какую-то знакомую вам деревню, хотя, возможно, немного веселее, потому что находилась дальше к югу и ближе к солнцу; но все это теперь исчезло. И траншея бежит из руин, и называется Авеню Ветряной Мельницы. Должно быть, когда-то здесь стояла ветряная мельница.

Когда вы попадете из канавы в траншею, вы больше не увидите сорняков, земли и стволов ив, только голый мел. Наверху этих белых ровных стен – около фута коричневой глины. Слой коричневой глины увеличивается, когда вы идете к холмам, пока мел не исчезает вовсе. Наш союз с Францией нов в истории людей, но это – старый, старый союз в истории холмов. Белый мел с коричневой глиной наверху опустился и ушел на дно морское; и холмы Сассекса и Кента схожи с холмами Пикардии.

И так вы можете обнаружить, минуя мел, лежащий в том пустынном краю, воспоминания о более спокойных и более счастливых холмах; все зависит от того, что мел означает для вас: вы можете не знать этого и в таком случае попросту ничего не заметите; или вы, возможно, были рождены среди

тех холмов, пропахших тимьяном, и все же не увлекаетесь странными мечтаниями, так что вы не думаете о холмах, которые смотрят на вас как на ребенка, а уделяете все свое внимание бизнесу; это, вероятно, лучше всего.

Через некоторое время вы попадете в другие траншеи. Доски с надписями укажут вам путь, и вы пройдете по Авеню Ветряной Мельницы. Вы минуете Грушевый Переулочок, Вишневый Переулочок и Сливовый Переулочок. Грушевые деревья, вишневые деревья и сливовые деревья, должно быть, росли там когда-то. Вы пройдете через дикие переулочки, огражденные колючим кустарником, над которым возвышались одно за другим эти деревья, расцветавшие в конце весны; и девушки собирали плоды, когда они созревали, с помощью высоких молодых людей; или вы пройдете через старый окруженный стеной сад, где груша, вишня и слива росли за стеной, все лето купаясь в лучах летнего солнца. Но теперь нельзя сказать, как именно все было; все дело в войне; все, что было, теперь исчезло; сегодня там уцелели только названия трех деревьев. Мы оказываемся рядом с Яблочным Переулочком. Не следует думать, что там непременно росли яблони, поскольку мы видим здесь руку шутника, который, назвав соседа Сливового Переулочка «Яблочным Переулочком», просто отметил неразрывную связь, которая навсегда установилась между сливой и яблоком в умах тех, кто участвует в этой войне.

Поскольку, смешивая яблоко со сливой, изготовитель мо-

жет скрыть куда больше репы в джеме, на самом деле, в сочетании двух сил, чем он смог бы сделать, отказавшись от этого противоестественного союза.

Мы прибываем теперь в логово тех, кто беспокоит нас (но только для нашего собственного блага), в блиндажи траншейных минометных батарей. Очень шумно, когда они обращаются к передовой и играют в течение получаса или около того со своими конкурентами: враг посылает материал назад, наша артиллерия вступает в игру; как если бы в то время, как вы играли в крокет, гиганты стофутовой высоты, некоторые из них дружелюбные, некоторые нет, плотоядные и голодные, пришли бы и поиграли в футбол на вашей лужайке для крокета.

Мы оставляем позади бывший штаб батальона и шагаем мимо блиндажей и защитных сооружений различных людей, имеющих дело с Историей, мимо бомбовых складов и многих других компонентов, из которых творится История; мимо людей, которым очень трудно разойтись, поскольку ширина в два человека и два ранца – ширина траншеи связи (иногда на дюйм больше); мимо двух человек, несущих «летучую свинью», привязанную к палке между ними; мимо многих поворотов; и Авеню Ветряной Мельницы приводит вас наконец к ротному штабу, в блиндажи, которые Гинденбург возвел со своей пресловутой немецкой аккуратностью.

И туда через некоторое время спускается человек из Ток Эмма, офицер, командующий траншейной минометной ба-

тареей, и получает, разумеется, виски и воду, и сидит на лучшей пустой коробке, которую мы можем ему предложить, и закуривает одну из наших сигарет.

«Должен быть небольшой обстрел в 5. 30», говорит он.

Что случилось в ночь на двадцать седьмое

Ночь на двадцать седьмое была первой ночью, когда Дик Чизер заступил в караул. Ночь подходила к концу, когда он встал на пост; через час должны были протрубить подъем. Дик Чизер скрыл свой возраст, когда завербовался: ему было только восемнадцать. Удивительно мало времени прошло с тех пор, как он был совсем маленьким мальчиком; теперь он оказался в траншее на линии фронта. Никто не мог подумать, что все так переменится. Дик Чизер был обычным молодым крестьянином: длинные коричневые борозды по надменным, великолепным низинам, казалось, простирались далеко в будущее, насколько он мог разглядеть. И это совсем не узкая перспектива, поскольку жизнь многих наций зависит от тех коричневых борозд. Но есть и другие великие борозды, которые творит Марс, длинные коричневые траншеи войны; жизнь наций зависит и от них; но Дик Чизер никогда об этом не думал. Он слышал разговоры о великом флоте и множестве дредноутов; он называл это глупостью и ерундой. Зачем нужен большой флот? Чтобы не пускать немцев, говорили некоторые. Но немцы не появлялись. Если они хотели прийти, почему же они не приходили? Всякий мог увидеть, что они никогда не придут. Некоторые из

приятелей Дика Чизера так и говорили.

Итак, он никогда не представлял себе, что будет заниматься чем-то, кроме пахоты в огромных низинах; и вот, наконец, началась война, и он очутился здесь. Капрал показал ему, где стоять, велел сохранять бдительность и покинул его.

И вот Дик Чизер стоял в одиночестве во тьме, вражеская армия была прямо перед ним на расстоянии восьмидесяти ярдов: и, если все истории были правдивы, это была страшная армия.

Ночь казалась ужасно тихой. Я использую наречие, как его использовал бы Дик Чизер. Тишина ужасала его. Всю ночь не рвались снаряды. Он приподнял голову над парашютом и ждал. Никто не стрелял в него. Он почувствовал, что ночь ждет его. Он слышал голоса в траншее: кто-то сказал, что ночь чернее сажи; потом голоса умолкли. Простая фраза; ночь вообще-то не была черной, она была серой. Дик Чизер смотрел на нее, и ночь смотрела на него в ответ, казалось, угрожая ему; она была серой, серой как старый кот, которого они держали дома, и такой же ловкой. Да, подумал Дик Чизер, это ловкая ночь; вот в чем ее неправильность. Если бы появились снаряды или немцы, или что-нибудь вообще, он знал бы, как действовать; но этот тихий туман над огромной долиной и эта неподвижность!

Все могло случиться. Дик ждал и ждал, и ночь тоже ждала. Он чувствовал, что они наблюдают друг за другом, ночь и он. Он чувствовал, что все затаились. Его мысли обратились

к лесу на холмах, знакомых ему с детства. Он напряг глаза, уши и воображение, чтобы рассмотреть то, что случится на нейтральной полосе в зловещем тумане: но мысленно он постоянно возвращался ко всему, что скрывалось в старом лесу, так хорошо ему знакомом. Он представлял себя в компании других мальчишек, снова преследующих белок летом. Они обыкновенно гоняли белку от дерева к дереву, бросая камни, пока зверек не уставал; затем они могли сбить животное камнем: обычно этого не случалось. Иногда белка пряталась, и мальчику приходилось карабкаться следом за ней. Это был замечательный спорт, подумал Дик Чизер.

Какая жалость, что у него не было рогатки в те дни, подумал он. Так или иначе, годы, когда у него не было рогатки, казались ему потраченными впустую.

С рогаткой можно было заполучить белку почти сразу же, если повезет: и как это было бы замечательно! Все другие мальчишки собрались бы вокруг, чтобы посмотреть на белку, посмотреть на рогатку и спросить его, как ему удалось. Ему не пришлось бы говорить много, у него была бы белка; никакое хвастовство не нужно, если у ног лежит мертвая белка.

Можно было бы найти и другие цели, даже кроликов; да фактически все что угодно. Он, конечно, достанет рогатку первым делом, как только вернется домой.

Той ночью дул слабый ветерок, слишком холодный для лета. Он развеял лето воспоминаний Дика; сдул холмы, и лес, и белку. Он на мгновение раздвинул туман над нейтральной

полосой.

Дик Чизер посмотрел туда, но открывшееся пространство снова исчезло. «Нет», казалось, говорила Ночь, «ты не узнаешь мою тайну». И ужасная тишина еще усилилась.

«Что они делают?» – подумал часовой. – «Что они планируют среди всех этих милях тишины?» Даже сигналки было мало. Когда взлетала одна, далекие холмы, казалось, сидели и размышляли над долиной: их черные силуэты, казалось, знали, что случится в тумане и казалось, подтверждали присягой, что никому об этом не скажут. Ракета исчезала, и холмы снова скрывались, и Дик Чизер снова разглядывал зловещую долину.

Все опасности, и зловещие силуэты, и ужасные судьбы, скрывающиеся между армиями в тумане, с которым часовой стоял лицом к лицу в ту ночь, нельзя описать, пока история войны не будет написана историком, который сможет постичь разум солдата. Ни один снаряд не упал за всю ночь, ни один немец не шевельнулся; Дик Чизер был освобожден с поста, и его товарищи пришли ему на смену, и скоро пришел бескрайний, золотой, приветливый рассвет.

И среди всех ночных страхов случилось то, чего одинокий наблюдатель никогда не сумел бы предсказать: в час его стражи Дик Чизер, хотя ему едва исполнилось восемнадцать, стал настоящим мужчиной.

ГОТОВЫ К БОЮ

Никто не скажет, что в одно время в окопах опаснее или труднее, чем в другое. Нельзя взять какой-то особенный час и назвать его, в современном бессмысленном разговоре, «типичным часом в окопах». Установившаяся окопная практика ушла от этого слишком давно. Самыми напряженными должны быть те полчаса перед рассветом, когда ожидают нападения и люди стоят в боевой готовности. По старым правилам войны, это и есть самый опасный час, час, когда защитники слабее всего и больше всего боятся нападающих. Поскольку темнота в это время держит сторону атакующих, как ночь держит сторону льва, затем настает рассвет, и они могут удержать свои достижения в солнечном свете. Поэтому в каждом окопе в каждой войне гарнизон готовится к тому угрожающему часу, выставляя больше часовых, чем за целую ночь. Когда первый жаворонок поднимается с лугов, они уже стоят в темноте. Всякий раз, когда в какой-то части света ведется какая-то война, вы можете убедиться, что в этот час люди толпятся у парашютов: когда сон в городах глубже всего, в окопах не дремлют.

Когда замерцает рассвет, и появится серый свет, и линия его станет все шире, и внезапно фигуры станут различимы, и час атаки, которой всегда ожидают, минует, тогда, возможно, некоторый слабый намек на радость пробудится в самых

юных новичках; но в основном час этот проходит подобно всем прочим часам – незаметный фрагмент долгой, долгой рутины, которую воспринимают с облегчением, смешанным с шутками.

Рассвет приходит тихо, в сопровождении легкого ветерка, рассвет, слабый и странно заметный, едва намечающийся на востоке, пока люди все еще смотрят во тьму. Когда темнота исчезнет? Когда рассвет станет золотым? Это случается в одно мгновение, в тот момент, который всегда пропускают. На орудия падают первые солнечные лучи; небо становится золотым и безмятежным; рассвет высится там подобно Победе, которая воссияет однажды, когда кайзер пойдет дорогой всех древних проклятий земли. Приходит рассвет, и солдаты открепляют штыки, уходя с линии огня, и чистят свои винтовки протирками. Не все вместе, но отряд за отрядом: ведь это не дело, если вся команда будет застигнута врасплох, когда солдаты чистят ружья на рассвете или в любое другое время.

Они стирают грязь или дождевые капли, которые попали ночью в их винтовки, они отделяют магазины, и смотрят, как работает пружина, они снимают затвор, и натирают его маслом, и откладывают все чистое: еще одна ночь прошла, еще на один день приблизилась победа.

Удивительный странник

Путешественник перебросил плащ через плечо и спустился по золотому склону Эльдорадо. Он прибыл с невероятных высот. Он прибыл оттуда, где пики чистых золотых гор слегка отдавали красным на закате; он медленно шествовал от одной золотой скалы к другой. Явно из романа он пришел тем золотым вечером.

Это было всего лишь обыденное происшествие; солнце село или только садилось, воздух холодел, и горны батальона играли «отступление», когда этот благородный странник, британский аэроплан, опустился и помчался домой над головами пехотинцев. Тот красивый вечерний зов, и золотистая кайма взметнувшихся ввысь облаков, и искатель приключений, возвращающийся домой с холода, совпали во времени; и в каком-то озарении стал очевиден факт (который часы размышления иногда не могут прояснить), что мы живем в такие романтические времена, которым позавидовали бы трубадуры.

Он промчался, тот британский авиатор, над границей, над нейтральной полосой, над головами врагов и над таинственной землей за линией фронта, похитив тайны, которые скрывал враг. Или он победил немецких авиаторов, пытавшихся остановить его продвижение, или они не посмели рисковать. Кто знает, что именно он совершил? Он пересек границу и

возвратился домой вечером, как он делал каждый день.

Даже, когда вся его романтическая история была просеяна веками (столетия неплохо с этим справляются) и отделена от тривиального, когда все было сохранено поэтами – даже тогда, что найдется у них более романтического, чем эти искатели приключений в вечернем воздухе, прибывающие домой в окружении черных разрывов снарядов?

Пехота смотрит вверх с тем же самым смутным удивлением, с которым дети смотрят на летящего дракона. Иногда они не смотрят вовсе, поскольку все, что происходит во Франции, – это часть ее удивительной и ужасной истории, также как часть ежедневных происшествий, инцидентов, которые повторяются год за годом, слишком частых, чтобы мы замечали их. Если часть луны рухнет с неба и свалится, кувыряясь, на землю, с губ невозмутимых британских наблюдателей, которые увидят это, сорвется разве что следующий комментарий: «Ну и дела, что там творится наверху?»

И так британский аэроплан скользит домой вечером, и свет гаснет в небесах, и остовы тополей темнеют на фоне неба, и руины зданий становятся еще более мрачными в сумерках, и приходит ночь, и с ней звуки грома, поскольку авиатор передал сообщение артиллерии. Как будто Гермес пересек границу, паря на своих сандалиях, и обнаружил какую-то дурную землю под этими крылатыми ногами, землю, в которой люди творили зло и нарушали законы богов и людей; и он доставил это сообщение назад, и боги разгневались.

Ибо войны, в которых мы сражаемся сегодня, не похожи на другие войны, и чудеса их отличаются от других чудес. Если мы не видим в них сагу и эпос, как мы сможем поведать о них?

Англия

«И затем мы обычно ели сосиски», сказал Сержант.

«С соусом?» спросил Рядовой.

«Да», сказал Сержант, «и с пивом. А потом мы обыкновенно шли домой. Было великолепно по вечерам. Мы обычно шли по переулку, который был полон теми дикими розами. И затем мы выходили на дорогу, где стояли здания. Возле каждого был палисадник, возле каждого дома».

«Это мило, скажу я, сад», сказал Рядовой.

«Да», сказал Сержант, «у всех были сады. Они доходили прямо до дороги. Деревянный частокол: там нигде не было проволоки».

«Я ненавижу проволоку», сказал Рядовой.

«Ни у кого из них ее не было», продолжал Сержант. «Сады доходили прямо до дороги и выглядели прекрасно. У старого Билли Уикса были высокие бледно-синие цветы в саду, почти в человеческий рост».

«Шток-розы?» – уточнил Рядовой.

«Нет, не шток-розы. И красивы же они были! Мы обычно останавливались и смотрели на них, проходя мимо каждый вечер. Он проложил дорожку посреди сада, обложив ее красными плитками, я про Билли Уикса говорю; и эти высокие синие цветы росли вдоль дорожки, по обеим сторонам. Они были удивительны. Двадцать садов было там, должно быть,

если сосчитать все; но никто не мог превзойти Билли Уикса с его бледно-синими цветами. Старая ветряная мельница стояла далеко слева. Там были стаи птиц, носившихся вверху и шумевших примерно на высоте зданий. Боже, как эти птицы летали! И были там другие молодые люди, которые не ходили, просто стояли у обочины, ничего вообще не делая. Один из них играл на флейте, Джим Букер его звали. То были замечательные деньки. Летучие мыши частенько взлетали и носились, носились, носились; и затем появлялась звезда или несколько звезд; и дым от дымоходов становился серым; и слабый холодный ветерок метался вверх и вниз подобно летучим мышам; и все вокруг утрачивало свои цвета; и лес казался таким странным и замечательно тихим, и туман поднимался с реки. Наступало странное время. Я всегда представляю себе приблизительно это время: поздний вечер долгого-долгого дня, звездочка-другая в небесах, а я и моя девушка идем домой.

Но не хотел бы ты поговорить немного о тех вещах, которые помнишь?»

«О, нет, сержант, продолжайте. Вы так точно все вспоминаете».

«Я провожал ее домой», заметил Сержант, «до дома ее отца. Ее отец был сторожем, и они жили в лесу.

Прекрасный дом с потертыми старыми плитками и много больших дружелюбных собак. Я знал их всех по именам, как и они знали меня. Потом я возвращался домой через лес. Со-

вы были кругом; можно было услышать их крики. Они иногда вылетали из леса: такие большие и белые».

«Я про них знаю», сказал Рядовой.

«Однажды я увидел лису так близко, что почти мог коснуться ее, она шла, почти не касаясь земли. Она только выскользнула из леса».

«Хитрая старая скотина», сказал Рядовой.

«Это как раз подходящее время, чтобы выйти наружу», сказал сержант. «Десять часов летней ночи и ночь наполняется шумами, их немного, но те, что есть, звучат странно и доносятся издалека, нарушая тишину, и ничто их не прерывает. Лай собак, крик сов, звук старой телеги; и затем – только однажды – звук, который ты не можешь объяснить вообще, его нечем объяснить. Я слышал ночами подобные звуки, не похожие ни на что, тобой слышанное, даже на флейту молодого Букера, непохожие ни на что земное».

«Я знаю», сказал рядовой.

«Я никогда никому не рассказывал раньше, потому что они бы все равно не поверили. Но теперь это не имеет значения. Там был свет в окне, направлявший меня, когда я добирался домой. Я шел мимо цветов в нашем саду. У нас был чудесный сад. Как замечательно и странно выглядели бело-снежные цветы ночью».

«Вы замечательно все это вспоминаете», сказал рядовой.

«Чудесная штука – жизнь», сказал сержант.

«Да, сержант, я не хотел бы пропустить все это, ни за что

не хотел бы».

В течение пяти дней они находились на линии огня: они были полностью отрезаны без надежды на спасение, их припасы подошли к концу, и они не знали, где находятся.

Снаряды

Когда самолеты возвращаются домой, а последние отсветы заката блещут вдали, когда холодает и ночь опускается на Францию, вы замечаете орудия лучше, чем днем, или они и впрямь становятся более активными, я не знаю, в чем тут дело.

Как будто толпы гигантов, тварей огромного роста, выходят из логовищ в земле и начинают играть с холмами. Как будто они поднимают вершины холмов руками и затем довольно медленно их опускают. Как будто холмы и впрямь падают. Вы видите вспышки по всему небу, и затем раздается такой тяжелый удар, как будто бы вершина холма рухнула, но не вся сразу, а разрушилась понемногу, как если бы она выпала у вас из рук, будь вы трехсот футов высоты, когда дурачились ночью, разрушая то, что так долго создавалось. Это рвутся тяжелые снаряды неподалеку.

Если вы окажетесь где-нибудь поблизости от взрывающегося снаряда, вы можете заметить в нем любопытное металлическое звяканье. Его издают снаряды обеих сторон, при условии, что вы достаточно близко, хотя обычно, конечно, это к вражескому снаряду, а не к вашему собственному, вы оказываетесь куда ближе; так что всякий может их отличить. Любопытно, что после такого колоссального случая, каким этот взрыв должен быть в жизни куска стали, вообще что-

то остается от старого колокольного голоса металла, но что-то остается, если вы прислушиваетесь внимательно; это, возможно, его последний протест перед тем, как покинуть свою форму и возвратиться в землю, чтобы ржаветь там снова целую вечность.

Другой ночной голос – это скулеж, который снаряд издает по прибытии; он мало чем отличается от крика, который издает гиена, как только темнеет в Африке: «Как хорош будет путешественник на вкус», кажется, говорит гиена, и «я хочу мертвого Белого Человека». Этот возвышающийся голос снаряда, когда он подлетает ближе, и его замирание, когда случается перелет, как раз напоминают о дикции гиены. Если нет перелета, тогда произносится нечто иное. Этот звук начинается в точности как первый, он мчится сверху, свидетельствуя об оставшихся позади воздушных просторах тем же самым долгим воем, как и другой снаряд. Я слышал, как ветераны говорят: «Этот идет хорошо». «Йии-хуу», говорит снаряд; но только там, где «оо» должен растянуться и превратиться в заключительный слог гиены, снаряд говорит кое-что совсем другое. «Зарп», говорит он. Это плохо. Этот звук издают снаряды, которые ищут вас.

И затем, конечно, раздается свистящий удар, прибывающий в конце по плоской траектории: он звучит недолго, но налетает подобно внезапному ветру; и все, что он должен сделать, делается окончательно и бесповоротно.

Кроме того, существуют газовые снаряды, летящие боль-

шими стаями с ненасытным бульканьем, снося заграждение. Это внутри них булькает жидкость, пока не превращается в газ умеренной силы взрывом; это все объясняет; и все же никакое объяснение не может избавить нас от представления о племени каннибалов, которые разделали нескольких хороших сочных людей, сделали из них отбивные и истекают слюной в нетерпении.

Чудесно наблюдать даже в такие замечательные ночи, как наши термиты рвутся над головами немцев. Снаряд превращается в душ из золотых капель; нелегко определить ночью, на какой высоте от земли он взрывается, но примерно на высоте вершин деревьев, стоящих в сотне ярдов. Взрыв распространяется равномерно вокруг и начинает идти дождь; это – плохой ливень, если под ним оказаться. Еще долго после того, как он прошел, промокшая зимняя трава, и грязь, и старые кости тихо пылают внизу. В такую ночь и в такой ливень «летучие свиньи» пойдут в дело, каждую из них понесут два человека. «Свиньи» пронесутся и рухнут прямо в немецкий блиндаж, куда немцы выбрались из-под огненного дождя, и все это взлетит на воздух.

О таких ночах никогда не мечтала даже Шехерезада при всей ее многосторонности; если бы такие кошмары и пришли ей на ум, она, конечно, никогда бы о них не заговорила, иначе ее августейший повелитель, Султан, свет веков, тотчас казнил бы ее; и его люди сочли бы, что он поступил верно. Это современному диктатору, Богу Кильского Канала,

достался такой кошмарный сон, довести до которого могли быть разве что истории Шехерезады в белой горячке; и будучи диктатором, он воплотил кошмар в реальность для мира. Но кошмар гораздо сильнее, чем его создатель, и становится все более могущественным каждую ночь; и Высочайший Бог Войны узнает, что есть в Аду силы, которые легко вызвать правителям земли, но не так легко загнать обратно в Ад.

Два вида зависти

На передовой настала ночь, и не было луны, или луна скрылась.

Обстрел продолжался. Ток Эмма были сердиты. И артиллерия с обеих сторон искала Ток Эмма.

Ток Эмма, могу объяснить для благословенных обитателей любого далекого счастливого острова, которые не слышали об этих вещах, – это грубое словечко Марса. У него нет времени говорить о батарее минометов, поскольку он всегда спешит, так что он называет их Т. М. Но Беллона может не расслышать его «Т. М.» среди всего того шума, который она производит: она может подумать, что он сказал «Д. Н.»; и ему приходится произносить «Ток Эмма». Таков алфавит Марса.

И огромные мины вырывали старые кости из нейтральной полосы, забрасывая их в окопы вдоль линии фронта, и снаряды взрезали воздух, который, казалось, сопротивлялся им, пока его не разрывало на части; они взрывались, и потоки грязи рушились с небес. Казалось, снаряды время от времени бесцельно разрывались в воздухе со вспышкой красного цвета; их запах разносился по окопам.

Посреди всего этого был ранен Берт Буттерворт. «Только в ногу», сказали его приятели. «Только!» – ответил Берт. Они уложили его на носилки и понесли по траншее. Они ми-

новали стоящего в грязи Билла Бриттерлинга, старого друга Берта. Лицо Берта, искаженное болью, обратилось к Биллу, выразив некую симпатию.

«Удачливый дьявол», сказал Билл.

На дороге с другой стороны нейтральной полосы была такая же грязь, как и на стороне Билла, только грязь там еще и воняла; казалось, за порядком никто никогда не следил. И парапет местами разошелся, поскольку у рабочих команд было очень мало шансов. Три Ток Эмма работали на линии фронта этого батальона, и британские батареи не совсем точно знали, где находится противник. А батарей, занятых уничтожением, было восемь.

Фриц Гроденшассер, стоящий в той непристойной грязи, изо всех сил мечтал, чтобы они поскорее нашли то, что искали. Восемь батарей, ищущих нечто, чего они не могут обнаружить, в окопах, где ты находишься... По сравнению с этим самая ужасная история охотника на слонов покажется немного унылой и безвкусной. Не то, чтобы Фриц Гроденшассер знал что-нибудь об охоте на слонов: он ненавидел все спортивное и от всего сердца одобрял казнь сестры милосердия Кэвелл. А здесь еще были термиты.

Огнемет был очень хорош, как всякое доброе немецкое оружие: он мог сжечь человека заживо на расстоянии в двадцать ярдов. Но проклятый пылающий английский термит мог поймать цель на расстоянии четырех миль. Это было несправедливо.

Три немецких траншейных миномета все еще стреляли. Когда же английские батареи найдут то, что они ищут, и весь этот ужас прекратится? Ночь была холодной и мерзкой.

Фриц переминался с ноги на ногу в глубокой грязной луже, но теплее ему от этого не становилось.

Серия взрывов сотрясла окоп. И тем не менее они не заделали миномет! Фриц отодвинулся, чтобы посмотреть, нельзя ли ему отыскать какое-нибудь место, где парапет еще не сломан. И пока Фриц продвигался по окопу, похожему на мусорную канаву, он наткнулся на деревянный крест, который отмечал могилу человека, которого он когда-то знал, а потом хоронил несколько дней назад у парапета, старого Ритца Хандельшайнера.

«Удачливый дьявол», сказал Фриц.

Хозяин нейтральной полосы

Когда последняя династия падет и последняя империя исчезнет, когда сам человек сгинет без следа, тогда, вероятно, все еще останется свид.¹

И вырос свид на нейтральной полосе у Круазиля неподалеку от Соммы, и рос он в том краю задолго до появления человека.

Он рос так, как никогда не рос прежде. Он стал высоким, крепким и поджарым. Он приподнял свою зеленую голову и пристально огляделся по сторонам. Да, человек ушел, и настал день свида.

Штормы были очень сильны. Иногда куски железа пронеслись сквозь его листья. Но человек ушел, и настал день свида.

Когда-то приходил туда человек, большой французский фермер, угнетатель свидов. Легенды рассказывали о нем и о его стадах рогатого скота, темные истории, которые передавались растениями из поколения в поколения. Так или иначе, все знали в тех полях, что человек ел свидов.

А теперь его дом исчез, и он больше не вернется.

Штормы были ужасны, но они лучше, чем человек. Свид кивнул своим товарищам: настали годы свободы.

¹ Рутабага или Шведская репа.

Они всегда знали, что эти годы настанут. Человек был там всегда, но всегда были и свиды. Он уйдет однажды, внезапно, как пришел. Так учила религия свидов. И когда деревья исчезли, свид решил, что день настал. Когда появились сотни маленьких сорняков, которым никогда не позволяли расти прежде, и беспрепятственно заполонили местность, он уже все знал.

После этого он рос без всяких предосторожностей, в солнечном свете, лунном свете и под дождем; рос в изобилии и свободе и преисполнялся высокомерием, пока не ощутил себя чем-то большим, чем человек. И действительно в тех свинцовых штормах, которые пели часто в его листве, все живые существа казались равными.

Мало того, и немцы ушли, когда отступили с Соммы. Свид стал самым высоким созданием на многие мили. Он воцарился в пустыне. Два кота из разрушенной фермы поселились в нем: он высокомерно высился над ними.

Куропатка пробегала среди его стеблей, далеко, далеко внизу под его высокими листьями. Ночные ветры, печально воюющие в Ничьей Земле, казалось, пели для него одного.

Настал, конечно, час свида. Ибо ему, казалось, принадлежала нейтральная полоса. Но только казалось... Именно там я встретил его однажды ночью в свете немецкой ракеты и принес нашей компании, чтобы приготовить.

Сорняки и колючая проволока

Все изменилось. Дивизии сдвинулись с места. Это был, судя по всему, обманный маневр. Батальон прошел по холму и остановился у дороги. Они оставили окопы и после трехдневного марша пришли в новые места. Офицеры достали карты; легкий бриз трепал их; вчера была зима, а сегодня – весна; но весна в пустыне была такой чужой и далекой, что узнать о ней можно было только от этого слабого ветерка. На календаре было начало марта, но ветер дул из ворот апреля. Командир взвода, чувствуя это дуновение ветра, забыл про свою карту и начал насвистывать мелодию, которая внезапно примчалась к нему из прошлого вместе с ветром. Ветер дул из прошлого и с Юга, донося веселую песню свежих южных обитателей. Возможно только один из тех, которые заметили мелодию, когда-то прежде слышал ее. Офицер, сидящий рядом, услышал напев; звук напомнил ему о давнем отпуске на Юге.

«Где вы слышали эту мелодию?» – спросил он у командира взвода.

«О, чертовски далеко отсюда», ответил командир.

Он не помнил точно, где услышал эти звуки, зато помнил солнечный день во Франции и холм, скрытый темным сосновым лесом, и человека, выходящего вечером из леса и шагающего вниз по склону к деревне, напевающего эту песню.

Между деревней и холмом были цветущие сады. Так он шел с песней несколько сотен ярдов через сады. «Чертовски далеко отсюда», сказал он.

После этого они долго сидели молча.

«Это не могло случиться очень далеко отсюда», сказал командир взвода. «Это было во Франции, теперь я вспомнил. Но то была прекрасная часть Франции, сплошные леса и сады. Ничем не похожа на эти места, слава Богу». И он устало оглядел окружающее их невыносимое опустошение.

«Где это было?» – спросил другой.

«В Пикардии», был ответ.

«Не в Пикардии ли мы сейчас?» – заметил его друг.

«Да?» переспросил офицер.

«Я не знаю. На картах это не называется Пикардией».

«Это было прекрасное место, так или иначе», сказал командир взвода. «Казалось, там на склоны холмов всегда падали лучи замечательного света. Необычная короткая трава росла на них, и она сияла на солнце вечерами. Черный лес был над ними. Человек выходил оттуда вечерами, что-то напевая».

Он устало посмотрел на коричневую пустошь и на сорняки. Насколько эти два офицера могли видеть, всюду были только коричневые сорняки и куски коричневой колючей проволоки. Он возвратился от пустынной сцены к своим воспоминаниям.

«Он с песней миновал сады и входил в деревню», закон-

чил он. «Странное старое местечко с удивительными фронтами, называемое Виль-эн-буа».

«Вы знаете, где мы?» – поинтересовался второй.

«Нет», сказал командир взвода. И тут же добавил: «Я не подумал раньше. Не лучше ли нам взглянуть на карту?»

«Думаю, что так», сказал командир взвода, разгладил свою карту и устало занялся выяснением того, где находится.

«О господи!» воскликнул он. «Виль-эн-Буа»!

Весна в Англии и во Фландрии

Очень скоро самые ранние первоцветы взойдут в лесу всюду, где они укрыты с севера. Они будут становиться все смелее с каждым днем, и разрастутся, и спустятся по склонам залитых солнцем холмов.

Потом появятся анемоны, подобно застенчивым бледным существам из племени эльфов, которые не осмеливаются оставить самые далекие уголки леса; в те дни все деревья покроются листвой, появятся и колокольчики, и какой-нибудь удачливый лес примет под свою сень несметное количество их; яркая свежая зелень буковых деревьев вспыхнет между двумя синими полосами – синевой неба и еще более яркой синевой колокольчиков. Позже расцветут фиалки, и в это время лучше всего наблюдать Англию: когда можно услышать кукушку, и она удивляет своих слушателей; когда вечера становятся все длиннее, а летучая мышь снова взмывает ввысь; когда все цветы расцветают и все птицы поют. В такое время не только природа улыбается, но и наши тихие деревни и суровые старые шпильки пробуждаются от зимней спячки на свежем воздухе и с легкостью несут груз столетий. В такое время вы могли бы явиться как-нибудь вечером в одну из тех старых деревень в долине и увидеть, что она способна поведать вам вековечную тайну, которую скрывала и хранила еще до того, как прибыли норманны. Кто знает? По-

сколько те места очень стары, очень мудры, очень дружелюбны; они могли бы поговорить с вами однажды теплым вечером. Если вы пришли к ним, пережив большое несчастье, они могли бы побеседовать с вами; после долгих ночей артиллерийских обстрелов во Франции они могли бы поговорить с вами, и вы могли бы явственно их услышать.

Это была бы долгая, долгая история о минувших веках; и она бы чудесным образом мало изменилась, намного меньше, чем мы думаем; и повторения каждый вечер, когда говорила старая колокольня и дома замирали у ее подножия, могли бы звучать настолько успокаивающе после бума снарядов, что, возможно, вы почти тотчас бы уснули.

К тому же память, утомленная войной, никогда не сможет удержать длинную историю, которую они поведают, когда колокольня и здания с коричневыми крышами хором будут бормотать вечерами; память никогда не сможет вместить их историю, даже если они будут говорить весь этот теплый весенний вечер напролет. Мы, возможно, уже слышали, что они говорили, и напрочь забыли. Кто знает?

Мы на войне, и видим здесь так много странных вещей: некоторые мы должны забыть, некоторые мы должны запомнить; какие – не нам выбирать.

Повернуться от Кента к Фландрии значит обернуться к времени траура, схожего во все времена года. Весна там не рождает ни листков на бесчисленных дубах, ни зеленого тумана, который плавает подобно ореолу над кущами берез,

которые стоят, вздымая волшебные стволы, как призраки лесной чащобы. На многие мили лето не рождает никаких колосьев, не выводит дев повеселиться в лунном свете и не приносит урожаев в дома.

Когда Осень смотрит на сады во всей этой траурной земле, она видит лишь бесплодные деревья, которые никогда не зацветут снова. Зима не собирает крепких фермеров вечерами посидеть у радостных очагов, семейства не встречаются в Рождество, и звон глух в колокольнях; ибо все, о чем может помнить человек – его дом был уничтожен, уничтожен, чтобы создать безумную танцплощадку, на которой убийцы танцуют до самой смерти, предводительствуемые мелким, умным, черствым клоуном, носящим имперский титул.

Здесь, в танце, они приближаются к гибели, пока их ноги не найдут пропасть, которая была приготовлена для них в день, когда они задумали ужасные вещи, которые сотворили.

Кошмарные Страны

Есть некие страны в самых темных поэтических мечтах, которые остаются в памяти поколений. Есть, например, у По «темное озеро Обер, призрачный край Вейра»; есть какие-то таинственные заводы на реке Альф, как полагает Кольридж; две строки Суинберна —

У мертвенно недвижимого моря.
В краю песка, и злата, и руин

– также навевают ужас. Да, есть в литературе некоторые мрачные края, настолько притягательные, что всякий раз, когда вы посещаете их, они оставляют в сознании своеобразную зону кошмара, в которую человек возвращается мысленно, заслышав эти строки.

Приятно иногда воображать себе такие страны, поудобнее устроившись у огня. Приятно, потому что вы можете изгнать образы, закрыв книгу; облачко дыма из трубки скроет их вовсе, а затем появятся приятные, полезные, знакомые вещи. Но во Франции это невозможно. Во Франции кошмарные страны видны всю ночь в звездном свете; рассвет настает, а они все еще на месте. Мертвые захоронены, другие заняли их места среди людей; но потерянные страны лежат непогребенными, открытыми всем ветрам; и потерянный лес

стоит, как полчище скелетов, гротескный в своем в одиночестве; даже времена года оставили эти края. Да, и времена года покинули их; так что, если вы захотите посмотреть, как лето переходит в осень или как осень становится зимой, — никаких следов этого вы не увидите. Все здесь похоже на эксцентричный сон какого-то странного человека, очень смутный и таинственный, но лишенный некоторых вещей, которые должны быть там, чтобы вы могли признать в окружающем мире Землю. Это безумный, безумный пейзаж. И он простирается на мили, и мили, и мили. Это крупнейшее деяние человека. Оно создает впечатление, будто человек в припадке гордости, со всеми своими умными изобретениями, сотворил жалкую пародию на мироздание.

Действительно, если мы вернемся к началу этой истории, мы увидим там, у истоков этого злосчастного события, человека, который был всего лишь императором, а желал быть кем-то большим. Он хотел управлять миром, но только разрушил его; и его безумие принесло нищету миллионам, и там, на уничтоженной земле, лежит поверженная во прах мечта. Теперь он никогда не возьмет Париж. Он никогда не будет коронован в Версале как Император Европы; и что же будет с самой тайной его мечтой: разве Цезари не именовали себя божественными? Разве не шептались македонские придворные, что Александр был сыном Бога? А чем Гогенцоллерн хуже их всех?

Почему бы и не достичь этого? Но теперь все миновало, та

мечта и линия Гогенцоллерна уничтожены. Маниакальные мечты и разрушенные фермы смешались: они создают «очаровательный» кошмар, и облака все еще мерцают ночами от разрывов снарядов, и спокойствие неба все еще нарушается днем наглыми воздушными шарами, черными взрывами немецких снарядов и белыми – наших зениток.

А внизу остается эта замечательная ненужная земля, где не поют девушки и не летают никакие птицы, кроме скворцов; где не осталось живых изгородей и зарослей диких роз, где ни единая тропа не пересекает пшеничные поля, и вообще там нет никаких полей, никаких ферм и никаких фермеров; только два стога сена высятся на холме, который мне известен; они сохранились в пустыне, и никто не касается их, поскольку здесь слишком хорошо знают немцев. А вершины холмов были снесены до самого мелового слоя. И люди говорят об этом крае, что он зовется Позьер, а о том месте, что оно именуется Гинши; ничто не указывает, что деревни вообще там стояли, и грязные коричневые сорняки заволокли всю эту землю навсегда; и могущественный дух пробудился в человеке, и никто не кланяется Богу Войны, хотя многие умирают. Это Свобода, которая пела свои песни древним, и она честна, как всегда, люди созерцают ее в своих видениях на нейтральной полосе – в те ночи, когда они способны на вылазку; она все еще бродит по ночам в Позьере и в Гинши.

Занятный человек однажды провозгласил себя Императором пустыни Сахара: немецкий Кайзер захватил честную

землю и удерживает в слабеющих руках землю воронок, и сорняков, и проволоки, и дикой капусты, и старых немецких костей.

Весна и Кайзер

В то время как весь мир ожидает прихода Весны, остаются большие участки в одной из самых замечательных стран, куда Весна прийти не может.

Груши, вишни и фруктовые сады засверкают в других странах, расцветая в изобилии, как будто их чудеса новы, с красотой свежей и удивительной, как будто ничто подобное прежде никогда не украшало бесчисленные столетия. Сначала лиственницы, а вскоре буки и орешник ярким зеленым пламенем осияют год. Склоны покроются фиалками. Те, у кого есть сады, начнут хвалиться ими и показывать соседям. Миндаль и персик в цвету выглянут из-за старых кирпичных стен. Так земля мечтает о лете на заре года.

Но всему этому немцы предпочли войну. Простое существование мирных людей в уютных странах не имело для них никакого значения. Их кайзер готовился к войне, говорил речи о войне и, как только завершил приготовления, начал войну. И теперь холмы, которые должны быть покрыты фиалками, полны убийственными отверстиями, и отверстия заполнены до половины пустыми банками из-под мясных консервов, и садовые стены исчезли и сады вместе с ними, и не осталось лесов, чтобы укрыть анемоны.

Безграничные массы ржавой колючей проволоки скрыли пейзаж. Все сады там вырублены из безжалостной злобы, вы-

рублены, чтобы повредить Франции, которую враги не могут победить. Все небольшие деревья, которые растут вокруг садов, исчезли – осина, золотой дождь и сирень. Это сотворено на многие сотни миль вокруг. Сотни разрушенных городов пристально взирают на это разбитыми окнами, и видят землю, из которой изгнана даже Весна. И не разрушенные дома в сотнях городов носят траур по ком-то, по мужчине, женщине или ребенку; поскольку немцы сделали войну одинаковой для всех в той земле, куда Весна больше не приходит.

Однажды Весна возвратится; однажды в апреле она снова засияет в Пикардии, поскольку Природа никогда не исчезнет бесследно, она вернется, и смена времен года скроет даже самые мерзкие вещи.

Скроется сырая земля с воронками от снарядов, а фиалки появятся снова; должны возвратиться и сады – для того, чтобы Весна могла шествовать по ним; лес снова разрастется над южными анемонами; и огромные орудия, брошенные немцами, будут ржаветь на берегах французских рек. Забытая подобно им, исчезнет и память о Боге Войны с его злыми деяниями.

Две песни

На обращенные к югу склоны английских холмов во время расцвета фиалок опустился вечер.

Тени у границ леса зашевелились и затем слились с сумерками.

Летучая мышь, сама подобная тени, решив, что настал вечер, проскользнула из лесной чащобы под сень буковых деревьев и снова помчалась назад на своих удивительно тихих крыльях.

Парочки голубей возвратились домой.

Совсем молодые кролики прокрались поглядеть на все еще спокойный мир. Они вышли, как только появились звезды. В одно мгновение звезд еще не было, а затем вы уже могли их увидеть, не заметив, как они появились.

Высокие облака на западе возвели дворцы, города и горы, бастионы из роз и пропасти из золота; гиганты пошли по ним домой, драпируясь в сиреневый цвет, шагая по крутым розовым ущельям в изумрудно-зеленые империи. Бури цвета вспыхнули над отбывающим солнцем; гиганты слились с горами, и города стали морями и новыми процессиями других фантастических вещей, которые приплыли по ветру. Но меловые склоны, обращенные на юг, лучились тем же самым спокойным светом, как если бы каждый стебелек травы принял луч от сумерек. Все холмы стояли в ожидании вечера,

пылая тем же самым тихим жаром, который мягко исчез, как только воздух стал холоднее; и появилась первая звезда.

Голоса, отчетливые в наступившей тишине, донеслись из долины и вскорости умолкли. В далеком окне зажегся свет, подобный искре: появилось еще больше звезд, и лес теперь весь потемнел, даже тени на склонах холма стали неясными.

Домой по тропинке сумрачным тихим вечером шла девушка, напевая «Марсельезу».

... Во Франции, где низины простираются без преград далеко на север, как если бы они были великими свободными гигантами, которых человек никогда не смирял, как если бы они вытягивали свои огромные свободные члены вечером, — тот же самый свет лучился и мягко мерцал вдали.

Дорога пересекала низины и обходила вокруг одного из огромных плеч. Тишина опустилась на них, как будто гиганты спали или как будто они стерегли в тишине свою чудесную древнюю историю.

Неподвижность усилилась вместе с сумерками; и непосредственно перед тем, как исчезли цвета, но когда очертания можно было еще различить, брел по дороге фермер, который вел за собой лошадь. Высоко над холмой лошади ее хомут, отделанный медью, превращал эту обычную вечернюю сцену в фантастическое, огромное и странное видение.

Они вместе шли через теплый свет туда, где, невидимый среди сбившихся вместе холмов и долин, надежно укрывался старый дом французского фермера.

Он шел домой вечером, насвистывая «Боже, храни Королеву».

Наказание

По прошествии многих лет над старым полем битвы в лучах лунного света взметнулась неясная тень. Она появилась из очень старых воронок, собралась по частям из траншей, вырытых в нейтральной полосе, и из руин ферм, она поднялась из разложения мертвых бригад, и в течение половины ночи лежала над двумя армиями. Но в полночь луна превратила все это в один призрак; он взмыл вверх и скрылся в восточном направлении.

Он миновал людей в сером, утомленных войной; он миновал землю, некогда преуспевающую, счастливую и могущественную, в которой остались люди, которые медленно умирали от голода; он миновал древние колокольни, на которых теперь не осталось колоколов; он оставил позади ужас, нищету и плач и прибыл во дворец в Потсдаме. Была глухая ночь между полуночью и рассветом, и весь дворец замер, чтобы Император мог уснуть, и стражи охраняли его, человека, который не издавал ни звука и оставлял в покое других. Все же было не так уж легко уснуть. Представьте себя преступником, который убил человека. Вы смогли бы уснуть? Представьте себя человеком, который задумал эту войну! Да, вы уснете, но кошмары останутся.

Призрак вошел в палату. «Идем», сказал он.

Кайзер вскочил сразу же так покорно, как тогда, когда

он прибыл на парад много лет назад, будучи субалтерном в прусской гвардии, человеком, которого ни одна женщина и ни один ребенок пока еще не проклинали; он вскочил и пошел. Они миновали молчаливых стражей; ни один не отозвался, ни один не выкрикнул приветствия; они стремительно промчались над городом, как ночные грабители; они оказались в деревенском коттедже. Они проплыли над маленькими садовыми воротами, и там, в опрятном небольшом садике, призрак замер, как будто ветер внезапно прекратился. «Взгляни», сказал он.

Должен ли он смотреть? Да, ему придется посмотреть. Кайзер посмотрел; и увидел окно, светлую и опрятную комнату в доме: не было там ничего ужасного; спасибо доброму немецкому Богу за это; все хорошо, в конце концов. Кайзер испугался, но все хорошо; там только сидящая у огня женщина с младенцем, двое маленьких детей и мужчина. И это была такая веселая комната. И мужчина был молодым солдатом; к тому же он оказался прусским гвардейцем – его шлем висел на стене, – так что все хорошо. Там были веселые немецкие дети; это было хорошо. Какой хорошей и уютной была комната. Там сияла перед ним, видимая издали в ночи, очевидная награда за немецкую бережливость и трудолюбие. Все было настолько опрятно и мило, хотя в доме обитали бедные люди. Мужчина сделал свое дело во имя родины и после всего пережитого смог позволить себе все небольшие безделушки, которые делают дом таким милостивым и

которые на свой скромный лад были роскошны. И пока кайзер смотрел в окно, двое маленьких детей смеялись, играя на полу, не видя его лица.

Как! Взгляните на шлем. Настоящая удача. Пулевое отверстие прямо посредине. Пуля, должно быть, прошла очень близко к голове человека. Как она пролетела мимо? Она, должно быть, ушла вверх, как с пулями иногда случается. Отверстие в шлеме было совсем низко. Ужасно, если пуля проходит так близко. Огонь в очаге мерцал, и лампа светила, и дети играли на полу, и мужчина курил фарфоровую трубку; он был силен, здоров и молод, один из могучих немецких победителей.

«Видите?» – спросил призрак.

«Да», ответил Кайзер. Это хорошо, подумал он, что кайзер смог увидеть, как живут его люди.

Тотчас же огонь угас, лампа исчезла, комната мрачно погрузилась в грязь и нищету, и солдат и дети исчезли с комнатой; все исчезли, и ничего не осталось, кроме шлема в своеобразном сиянии на стене и женщины, сидевшей в темноте в полном одиночестве.

«Все исчезло», сказал кайзер.

«Этого никогда не было», сказал призрак.

Кайзер взглянул еще раз. Да, там ничего не было, это было только видение. Только влажные, грязные серые стены, и только шлем выделялся на их фоне, твердый и округлый, как единственно реальная вещь в мире снов. Нет, этого никогда

не случилось. Это только видение.

«Это могло бы быть», сказал призрак.

Могло бы быть? Как это могло бы быть?

«Идем», сказал призрак.

Они проплыли над маленькой улочкой, в которой летом расцветут розы, и прибыли в дом Юлана; в мирные времена он был мелким фермером.

Здания фермы находились в хорошем состоянии, заметном даже ночью, рядом высились черные тени сенных стогов; ухоженный сад окружал дом. Призрак и кайзер стояли в саду; перед ними светилось окно в освещенной лампами комнате.

«Взгляни», сказал призрак.

Кайзер снова посмотрел и увидел молодую пару; женщина играла с младенцем, и все казалось замечательным в веселой комнате. Снова с трудом завоеванное богатство Германии сияло повсюду, куда бы ни обращался взгляд, удобная мебель говорила о хорошо возделанных акрах земли, свидетельствовала о победе в борьбе с временами года, от которых зависит богатство нации.

«Так могло бы быть», сказал призрак. Снова огонь угас, и веселая сцена исчезла, осталась только печальная, неухоженная комната, в углах которой воцарились бедность и мрачные призраки; одинокая женщина сидела там.

«Зачем ты показываешь мне это?» – спросил кайзер. «Почему ты показываешь мне эти видения?»

«Идем», сказал призрак.

«Что это?» – спросил кайзер. – «Куда ты ведешь меня?»

«Идем», сказал призрак.

Они шли от окна к окну, от земли к земле. Если б вы оказались той ночью в Германии и смогли бы все увидеть, перед вами предстала бы властная фигура, переходящая с места на место, наблюдая множество сцен.

Он наблюдал их, и семейства увядали, и счастливые сцены исчезали, и призрак говорил ему: «Идем». Он возражал, но повиновался; так они шли от окна к окну сотен ферм в Пруссии, пока не достигли прусской границы и не перебрались в Саксонию; и вы постоянно слышали, могли бы слышать, что духи говорили: «Это могло бы быть», «это могло бы быть», повторяя одно и то же у каждого окна.

Они миновали Саксонию, направляясь к Австрии. И долгое время кайзер сохранял свой черствый, властный вид. Но наконец он, даже он, наконец он почти заплакал. И призрак обернулся тогда, и повел его обратно в Саксонию и снова в Пруссию, и над головами стражей проводил его к удобному ложу, где было так трудно уснуть.

И хотя они видели тысячи веселых домов, дома эти никогда не будут веселы теперь, укрытые бесконечным трауром; хотя они видели тысячи улыбающихся немецких детей, эти дети никогда не будут рождены теперь, они были только видением надежд, взорванных им; ибо на всех просторах, по которым он так безжалостно пронесся, рассвет еще только

намечался.

Он смотрел на первые из множества тысяч, дома которых он грабил все время и которых он должен был увидеть своими глазами прежде, чем сможет двинуться дальше.

Первая ночь наказания кайзера завершилась.

Английский Дух

К концу южноафриканской кампании сержант Кейн утвердился в одном убеждении, а именно: война – это переоцененное развлечение. Он сказал, что «сыт по горло всем этим», отчасти потому, что неправильно используемая метафора была тогда в новинку, отчасти потому, что все так говорили; он проникся этим чувством до самых костей, а у него была долгая память. Так что, когда 1 августа 1914 года знаменательные слухи достигли деревни на востоке Англии, где он жил, сержант Кейн сказал: «это означает войну» – и тотчас же решил не иметь никакого отношения к войне; настал чей-то еще черед; он чувствовал, что сделал достаточно. Потом настало 4-ое августа, и Англия выбрала свою судьбу, а затем было обращение лорда Китченера к народу.

У сержанта Кейна было семейство, о котором следовало заботиться, и миленький дом; он оставил армию десять лет назад.

На следующей неделе ушли на фронт все мужчины, которые были в армии прежде, все, кто был достаточно молод, и с ними немало молодых людей, которые никогда не были в армии. Люди спросили Кейна, пойдет ли он, и он сказал прямо: «Нет».

К середине августа Кейн прочувствовал ситуацию. Он стал маленьким центром сплочения для людей, которые не

хотели туда идти. «Он знает, на что это похоже», говорили они.

В курительной Большого Дома сидели сквайр и его сын, Артур Смит; и сэр Маньон Бумер-Платт, член парламента. Сын сквайра был на минувшей войне еще мальчиком и, подобно сержанту Кейну, оставил армию с тех пор. Все утро он проклинал воображаемого генерала, сидящего в военном министерстве за воображаемым столом с собственным письмом Смита, лежащим перед ним, но так и не раскрытым. С какой стати он не отвечает, думал Смит. Но он теперь немного успокоился, а сквайр и сэр Маньон заговорили о сержанте Кейне.

«Предоставьте его мне», сказал сэр Маньон.

«Очень хорошо», сказал сквайр. Так что сэр Маньон Бумер-Платт вышел и отправился к сержанту Кейну.

Госпожа Кейн знала, ради чего он прибыл.

«Не давай ему заговорить тебе зубы, Билл», сказала она.

«Он не сумеет», сказал сержант Кейн.

Сэр Маньон нашел сержанта Кейну в саду.

«Прекрасный день», сказал сэр Маньон. И после этого он перешел к войне.

«Если ты завербуешься», сказал он, «тебя тотчас же снова сделают сержантом. Ты получишь оклад сержанта, а твоя жена получит новое пособие».

«Скорее, Кейн», сказала госпожа Кейн.

«Да, да, конечно», сказал сэр Маньон. «Но потом будет

медаль, вероятно, две или три медали, и слава... А это такая роскошная жизнь».

Сэр Маньон воодушевлялся всякий раз, когда слышал свои собственные слова. Он разукрасил войну, как ее всегда разукрашивали, превращая в одну из самых привлекательных вещей, которые можно себе представить. И к тому же не следует предполагать, что эта война будет похожа на предыдущие, она будет совершенно иной.

Будут здания, где вас будут размещать, и хорошее довольствие, и тенистые деревья и деревни везде, куда вы отправитесь. И это будет такая возможность посмотреть Континент («это же и в самом деле Континент», пояснил сэр Маньон), которая никогда больше не представится, и ему только жаль, что он уже не молод. Сэр Маньон действительно желал этого, когда говорил, поскольку собственные слова глубоко его тронули; но так или иначе они не тронули сержанта Кейна. Нет, он сделал свое дело, и у него есть семья, о которой следует заботиться.

Сэр Маньон не мог понять его: он возвратился в Большой Дом и так и сказал. Он изложил все преимущества, которые смог придумать и о которых многие бы просто умоляли, а сержант Кейн просто пренебрег ими.

«Дайте мне попытаться», сказал Артур Смит. «Он прежде служил со мной».

Сэр Маньон пожал плечами. Он пересчитал все преимущества по пальцам, от денежного довольствия до квартиры:

больше сказать было нечего. Однако молодой Смит все-таки пошел.

«Привет, сержант Кейн», сказал Смит.

«Привет, сэр», откликнулся сержант.

«Ты помнишь ту ночь на Рейт-ривер?»

«Не забыл, сэр», сказал Кейн.

«Одно одеяло на каждого и никакой подстилки?»

«Помню, сэр», сказал Кейн.

«Не будь дождя...» – сказал Смит.

«Дождь той ночью шел серьезный».

«Утопил нескольких вшей, я полагаю».

«Не так уж много», сказал Кейн.

«Нет, не много», согласился Смит. «У буров были хорошие позиции для обстрела».

«Нам бы такие», сказал Кейн.

«Мы были голодны той ночью», сказал Смит. «Я мог бы съесть кусок вяленого мяса из войскового рациона».

«Я попробовал однажды», сказал Кейн. «Не так плохо, чем бы там оно ни было, только маловато».

«Я не думаю», сказал Смит, «что когда-нибудь спал на голой земле с тех пор».

«Нет, сэр?» – переспросил Кейн. «Это трудно. Вы привыкли к этому. Но это всегда будет трудно».

«Да, это всегда будет трудно», сказал Смит. «Ты помнишь время, когда мы мучились от жажды?»

«О, да, сэр», сказал Кейн, «я помню это. Такого никто не

забудет».

«Нет. Я все еще иногда вижу это во сне», сказал Смит. «Это противный сон. Я просыпаюсь, а во рту у меня сухо – всякий раз, когда я вижу этот сон».

«Да», сказал Кейн, «про жажду никто не забывает».

«Что ж», сказал Смит, «думаю, что мы готовы повторить все это?»

«Полагаю, что так, сэр», сказал Кейн.

Исследование причин и происхождения Войны

Немецкий императорский парикмахер был призван в армию. Его, должно быть, призвали рано, в самом начале войны. Я видел фотографии в газетах, которые не оставляют в этом сомнений. Кто он – я не знаю: я когда-то прочел в статье его имя, но потом забыл; немногие знают, жив ли он еще. И все же какой вред он нанес! Какое великое зло он невольно сотворил! Много лет назад он изобрел пустышку, *jeu d'esprit*, простительную художнику в расцвете юности, тому, для которого искусство было ново и даже, возможно, замечательно. Конечно, это скорее ремесло, чем искусство, и скромное ремесло притом; но тогда мужчина был молод, а что не покажется замечательным юноше?

Он, должно быть, воспринял свое ремесло очень близко к сердцу, но на манер молодежи – с фантазией и с улыбкой. Он, должно быть, решил затмить конкурентов: он, должно быть, бродил и думал, сидя при свечах допоздна, возможно, когда весь дворец погружался в сон. Но как молодой человек может задуматься о чем-то серьезном? И так он дошел до этого абсурдного, этого фантастического тщеславия. Что еще могло произойти? Чем серьезнее он воспринимал искусство стрижки, чем больше он изучал его уловки и фразы и

слушал лекции старых парикмахеров, тем сильнее становилось искушение молодости, побуждавшее его к смеху и подталкивавшее к чему-то возмутительному и смешному.

Фон унылого великолепия Потсдама, должно быть, сделал все это гораздо отчетливее. Все было взаимосвязано.

И так в один день, или, как я предположил, внезапно поздней ночью, посетило молодого художника, склонившегося над книгой о прическах, это странное, безумное, непонятное, нелепое вдохновение. Ах, какое удовольствие кроется в безумии молодости; он не похож на безумие старости, цепляющейся за истертые формулы; это – безумие разрушения, скачки над пропастями, развлечения с невозможным, ухаживания за абсурдным. И этого вдохновения не было ни в одной из книг; лекторы-парикмахеры не читали лекций об этом, не могли мечтать об этом и не смели; не было для этого никакой традиции, никакого прецедента; это было безумно; и представьте это в великолепии Потсдама, благосклонного к безумию. И нелепое, абсурдное вдохновение молодого сумасшедшего парикмахера было ничуть не меньше, чем усы вообще без малейшей завивки, которые вопреки всяким предположениям здравомыслия должны подниматься на концах почти на высоту глаз!

Он, должно быть, сначала поведал о находке своим молодым собратям по ремеслу, поскольку юноша сначала отправляется к другим юношам со своими галлюцинациями. А они, что они могли сказать? Вы не можете сказать о безумии,

что оно безумно, вы не можете назвать нелепость абсурдной. Критиковать значило бы выказать ревность; а что касается похвалы – нельзя было хвалить подобную вещь. Они, вероятно, пожали плечами, сделали разные жесты; возможно, один друг предупредил его. Но вы не можете предостеречь человека против безумия; если безумие переходит в одержимость, его не остановить: зачем это нужно? И затем, возможно, он отправился на суд к старым парикмахерам. Вы можете вообразить их гнев. Старость ни в коем случае не станет учиться у юности. Но было нанесено оскорбление их древнему ремеслу, что достаточно дурно, если только предполагается, а здесь об этом открыто говорили вслух.

И что вышло бы из этого? Они, должно быть, боялись, с одной стороны, позора своему ремеслу, если б с этим молодым парикмахером обращались так, как он заслужил по своему легкомыслию; и, с другой стороны, разве они могли опасаться его успеха? Я думаю, что они не могли предположить ничего подобного.

И затем молодой идиот с его нелепым вдохновением, должно быть, осмотрелся вокруг, выискивая, где бы попрактиковаться с новой нелепостью. Должно быть, ему надоело беседовать об этом с товарищами-парикмахерами; они с интересом возобновили свою работу на следующий день после этого безумного перерыва, и никакой вред не был причинен. «Фриц (или Ганс)», сказали бы они, «был немного взвинчен вчера вечером, почитай что под завязку», или какие там фра-

зы они используют, чтобы описать опьянение; и все было бы забыто. У всех нас есть свои мечты. Но этот молодой дурак захотел смешать свою теорию с практикой: вот где он был безумен. И в Потсдаме, именно в Потсдаме!

Он, вероятно, обратился сначала к своим друзьям, молодым парикмахерам в Суде, и к другим равным по положению. Ни один из них не был таким дураком, чтобы согласиться на подобное предложение. У них были рабочие места, которые не хотелось терять. Парикмахер Суда – одно, человек, который стрижет обычные волосы – совершенно иное. Почему они должны стать изгоями, если их друг пожелал стать безумцем?

Он, вероятно, попробовал обратиться к младшим, но они оказались чересчур робкими; они, должно быть, видели, что предложение абсурдно, и не стали рисковать. Опять же, зачем?

Не попытался ли он подыскать благородных покровителей для своего изобретения? Вероятно, первые отказы еще сильнее разожгли пламя его безумия; он отбросил все предостережения и пошел напрямик к Императору.

Вероятно, к тому времени Император уволил Бисмарка; конечно, рисунки того времени показывают его все еще с нормальными усами.

Молодой парикмахер, вероятно, случайно наткнулся на него в этот момент, найдя его лишенным советника и готовым покориться любой прихоти. Возможно, он был привле-

чен смелостью парикмахера, возможно, нелепость его вдохновения имела некоторое обаяние для него, возможно, он просто увидел, что вещь была нова и, чувствуя утомление, позволил парикмахеру поступить по-своему. И так легкомыслие стало фактом, нелепость стала видимой, и почести и богатство нашли парикмахера.

Ничтожно малая вещь, можете вы сказать, однако фантастическая. И все же я уверен, что нелепость того парикмахера была одним из величайших зол, принесших смерть множеству людей; оно было причудливым и фарсовым, но все же более смертоносным, чем красота Елены или любовь Тамерлана к черепам. Поскольку как характер раскрывается во внешности, так и вещи извне воздействуют на характер; и кто, по воле смелого парикмахера сохранив навсегда на лице эту смехотворную причуду, мог бы двигаться дальше по прямому пути благородных монархов? Фантазия должна быть смягчена здесь, подчеркнута там; будь у вас такая фигура, которую нужно драпировать, как театралу-любителю, вы поняли бы трудность. Тяжелый серебряный орел должен уравновесить все это; блестящий панцирь опускается вниз, оберегая наше зрение от слишком продолжительного созерцания нелепости парикмахера. Затем и поза должна соответствовать кирасе и подтверждать дикое тщеславие этого безумного, безумного парикмахера. Он несет ответственность за многое, этот эксцентричный человек, имя которого немногие помнят. Ведь поза ведет к действиям; и когда

Европе больше всего необходим человек мудрый и рассудительный, ограничивающий страсти великих империй, именно тогда она попала под управление Германии и, к несчастью, повелевал Австрией человек, который с каждым годом все больше привыкал к безумию юного вдохновения того глупого парикмахера.

Простим же парикмахера. Давно уже по иллюстрациям я понял, видя кайзера, что изобретатель отправился в траншеи. Вероятно, он мертв. Давайте простим парикмахера. Но давайте не забывать, что бесполезные мечты молодых людей могут быть смертоносны, и что кто-нибудь из них, лишившись опоры рассудка, может так сдвинуть свою обретенную пустоту, что ускорит разрушение и приведет в движение лавины неограниченного горя.

Потерянный

Описывая визит, который кайзер нанес инкогнито в Кельнский собор 18-ого марта перед большим сражением, корреспондент «Туд» пишет в газете от 28 марта:

«В здании находилось всего несколько человек. Под высокими арками в полном одиночестве сидел Кайзер, как будто погруженный в глубокие размышления, перед хором священников. Позади него уважительно замерла на расстоянии военная свита. Все еще задумчивый монарх начинает подниматься, опираясь обеими руками на трость, замирает в этом положении неподвижно на несколько минут... , я никогда не забуду этот образ задумчивого монарха, молящегося в Кельнском Соборе накануне великого сражения».

Вероятно, он не забудет этого. Немецкие отчеты о потерях напомнят ему. Но что гораздо важнее – этот опытный пропагандист, возможно, получил распоряжения, что мы не должны забыть все это, и что зловещий создатель тогдашнего надвигающегося Холокоста должен обрести в глазах последнего из «Туд» какие-то несколько более мягкие очертания.

И без сомнения этот кусок пропаганды вызвал полнейшее удовлетворение тех, кто его заказал, иначе они никогда не пропустили бы это в печать, и трогательная сценка никогда не достигла бы наших глаз. В то же самое время небольшой рассказ лучше бы подошел к психологии других стран, если

бы Бог Войны стал на колени, когда молился в Соборе Кельн, и если бы Военный Штаб выразил уважение Тому, кого за пределами Германии почитают куда сильнее, чем его Высочайшество.

И если Бог Войны действительно становился на колени, разве не возможно, что он мог обрести жалость, смирение или даже раскаяние? Вещи, которые легко пропустить в столь большом соборе, сидя прямо, как Бог Войны, перед хором священников, но, возможно, легко заметить глазами, обращенными к земле.

Возможно, он почти нашел одну из тех вещей. Возможно, он почувствовал (кто знает?) только на мгновение, что в полумраке тех огромных проходов было нечто, он потерял давным-давно.

Никто не поверит, что далекие, слабые призывы от славных вещей вроде Кельнского Собора могут нести что-нибудь дурное; эти обращения оказываются слишком далекими и слабыми, чтобы остановить тех, кто движется безрассудной дорогой разрушения.

Чего искал Бог Войны? Знал ли он, что жалость к бедным погибшим людям, вытолкнутым им под непрерывный огонь наших автоматов, могла бы быть обретена, если б он искал там? Или та потерянная вещь, чем бы она ни была, тихо воззвала к нему, случайно проникнув в двери, и увлекла его, как аромат некой травы или цветка в одно мгновение увлекает нас на много лет назад, на поиски чего-то, утраченного

в юности; мы пристально глядим назад, удивляемся и не находим этого.

И подумать только, возможно, он утратил нечто в самое решающее мгновение! Вопреки гордой позе и почтительной свите он мог бы увидеть то, что было потеряно, и обнаружить это, проявив милосердие к своим людям. Мог бы сказать толпе, которая, по сообщениям прессы, встречала его аплодисментами у дверей: «Моя гордость вовлекла вас в эту бесполезную войну, мои амбиции привели к многомиллионным жертвам, но все кончено, и этого больше не будет; я не стану больше никого завоевывать».

Они убили бы его. Но из-за такого запоздалого отказа, возможно, проклятия вдов могли бы не коснуться его могилы.

Но он не обрел этого. Он сидел в просительной позе. Потом он встал. Тогда он зашагал прочь; его свита последовала за ним. И во мраке огромного кельнского Собора остались вещи, которых кайзер не нашел и никогда не найдет теперь. Незамеченный там, в какой-то тихий момент, был потерян последний шанс человека.

Последний мираж

Пустошь, которую немецкое наступление добавило к владениям кайзера, нелегко представить тому, кто никогда не видел пустыню. Найдите это место на карте – оно полно названиями городов и деревень; оно находится в Европе, где нет никаких пустынь; это плодородная провинция, окруженная известными областями. Конечно, перед нами прекрасное дополнение к имуществу честолюбивого монарха. Конечно, там есть кое-что, что стоит завоевывать, не считаясь с жертвами.

Нет, ничего. Это города-миражи. Фермы выращивают плоды Мертвого Моря.

Франция отступает под имперским нажимом. Франция улыбается, но не ему. Новые города, кажется, принадлежат ему, потому что их названия еще не стерты с карт, но они рушатся при его приближении, потому что Франция – не для него. Его ужасные амбиции творят пустоту, когда движутся вперед, погребая под собой города. Кайзер достигает их, и городов там уже нет.

Я видел миражи и слышал, что рассказывали о них другие; но лучшие миражи из всех – те, описаний которых мы никогда не услышим; миражи, которые путники, лишённые воды, видят в конце пути. Там есть фонтаны, взметнувшиеся над ониксовыми бассейнами, синие и прямые фонтаны

невероятной высоты, падающие и заливающие прохладный белый мрамор; туман распылен над их перистыми вершинами, сквозь которые мерцают и слегка колеблются бледно-зеленые купола из древней меди; таинственные храмы, могилы неизвестных королей; потоки, ниспадающие с утесов розового кварца, далекие, но ясно видимые, впадающие в реки, несущие удивительные баржи к золотым дворам пустыни Сахара. Этого мы не видели никогда; это видят в самом конце люди, умирающие от жажды.

Именно так кайзер взирал на прекрасные равнины Франции. Именно так он созерцал ее знаменитые древние города, и фермы, и плодородные поля, и леса, и сады Пикардии. С огромными усилиями, с множеством битв он продвигался к ним. Пока он подходил к ним, города рушились, леса высыхали и падали, фермы исчезали из Пикардии, даже живые изгороди пропадали; оставалась лишь голая, голая пустыня. Он был уверен насчет Парижа, он мечтал о Версале и о какой-то чудовищной коронации, он думал, что его безграничная жадность будет пресыщена. Ибо он готовился к завоеванию мира, эта безграничная жадность подгоняла его вперед, как человека во власти жажды влечет к озеру.

Он видит, что победа близка. Но она так же исчезнет в пустыне среди старой колючей проволоки и сорняков. Когда он увидит, что все его амбиции обречены? Ведь его мечты о победе подобны тем последним снам, которые приходят в обманчивых пустынях к умирающим людям.

Для него не осталось ничего хорошего в пустыне Соммы. Бапома в действительности там нет, хотя он все еще отмечен на картах; там только дикая местность – сланец и кирпич. Перонн напоминает город издали, но когда вы приближаетесь к нему, то видите только остовы зданий. Позьер, Сарс, Сапиньи исчезли вовсе.

И все это – мертвые порождения зримой пустыни. Сообщения о немецких победах – миражи, как и все прочее; они также исчезнут в сорняках и старой колючей проволоке.

И демарши, которые напоминают победы, и руины, которые напоминают города, и побитые снарядами разрушенные поля, которые напоминают фермы, – они, как мечты о завоевании и все заговоры и амбиции, остаются всего лишь миражами умирающей династии в пустыне, которую она создала себе на погибель.

Кости лежат в пустыне, кости рассеяны вокруг нее, это самая угрожающая и пагубная пустошь из всех смертоносных мест, которые грозили человеку. Гогенцоллерны теперь льстят себе видением победы, потому что они обречены и готовятся к смерти. Когда их раса погибнет, земля должна снова улыбнуться, поскольку их смертоносный мираж больше не будет угнетать нас. Города должны восстать из праха и фермы должны вернуться; живые изгороди и сады должны показаться вновь; лес должен медленно поднять свои верхушки из пыли; и сады должны возвратиться туда, где была пустыня, чтобы цвести в более счастливые времена, когда

все позабудут о Гогенцоллернах.

Знаменитость

Прошлой зимой в Беханьи проходила известная личность. Солдаты, чтобы увидеть его, собирались с квартир по всей Аррской дороге, из Эрвильера и из Сапиныи, из призраков деревень за дорогой, из мест, которые некогда были деревнями, а теперь превратились только в имена. Они проходили три или четыре мили – те, кто не смог забраться в грузовики, поскольку его имя было одним из тех, которые известны всем, не такое имя, какое может завоевать солдат или поэт, но такое, которое знают все. Они собирались там каждый вечер.

На расстоянии четырех миль слева, если вы шли от Эрвильера, орудия грохотали над холмами, низкими холмами, над которыми «сигналки» из траншей поднимают головы и смотрят вокруг – зеленые, желтые головы, которые делают небо больным, – и облака вспыхивают и снова сереют всю ночь напролет. Если бы вы подобрались поближе к Беханьи, вы потеряли бы из виду сигнальные ракеты, но орудия продолжали бы грохотать. Глупый маленький поезд частенько пробегал слева, при этом громко свистел, как будто просил, чтобы его обстреляли, но я никогда не видел снарядов, мчавшихся за ним; возможно, это значило, что немецкие стрелки не могли рассчитать, насколько медленно этот поезд ехал. Он пересекал дорогу, когда вы подходили к Беханьи.

Вы миновали могилы двух или трех немецких солдат с именами на белых деревянных крестах – эти люди погибли в 1914-м; а дальше было небольшое кладбище французского конного полка, где в середине стоял большой крест с венком, значком триколора и с именами людей.

И затем появлялись деревья. Это было всегда удивительно, когда вы видели их темные очертания вечером, или когда вы видели их днем и угадывали по виду листьев, настала уже осень или миновала. Зимними вечерами можно было разглядеть только их черные остовы, но это не менее изумительно, чем видеть их зеленеющими летом; деревья у дороги Аррас – Бапом, деревья посреди пустыни в ужасном краю на Сомме. Их немного осталось, только небольшая кучка, меньше, чем пальм в оазисе в пустыне Сахара, но оазис – оазис везде, где бы вы его ни обнаружили, и несколько деревьев уже создают его. Это маленькие участки, разбросанные здесь и там, их достаточно мало, как известно арабам, и смертоносные пески пустыни Сахара никогда не могли их засыпать; есть даже на Сомме уголки, где немецкое зло, повинувшись кайзеру, как песок пустыни Сахара повинуется проклятому сирокко, не сумело уничтожить все до конца. Эта маленькая группа деревьев в Беханьи – один из таких уголков; дивизионный штаб укрывался в их тени; и около них стояла когда-то статуя на лужайке, которая, вероятно, находилась под окнами какого-то прекрасного дома, хотя теперь уже не осталось никаких следов дома, а тем более лужайки и статуи.

И слева, немного подалее, сразу за офицерским клубом, располагался большой зал, где можно было увидеть знаменитость, поглядеть на которую издалека собирались офицеры и солдаты.

Зал вместил бы, возможно, четыре или пять сотен зрителей перед сценой, очень просто отделанной красными, белыми и синими тканями, но отделанной кем-то, кто хорошо знал свое дело; и в задней части той сцены зимними вечерами бродил на своих плоских и всемирно известных ногах Чарли Чаплин.

Когда аэропланы проносились сверху во время бомбежки, двигатели обыкновенно замирали, поскольку они снабжали светом другие места помимо кино, и тень Чарли Чаплина исчезала. Но люди ждали, пока аэропланы не улетали, пока известная фигура не появлялась на экране вновь, шествуя вперевалку. Там он развлекал усталых людей, недавно прибывших из траншей, там он приносил смех почти все двенадцать дней, которые они провели за линией фронта.

Теперь он ушел из Беханьи. Он не маршировал в отступлении немного в стороне от солдатского строя, с головой, согнутой вперед, и рукой, упертой в живот, как Наполеон с плоскостопием; и все-таки он ушел; ведь никто не оставил бы врагам такую драгоценность, как фильм Чарли Чаплина. Он ушел, но он вернется. В один прекрасный день он пройдет со своей тростью по этой Аррской дороге к старой хижине в Беханьи; и люди, одетые в коричневую форму, снова

приветствуют его там.

Он пройдет и дальше через пустынные равнины, и по холмам за ними, за Бапом. Далекие деревни на востоке узнают о его проделках.

И в один день, конечно, в старой знакомой одежде, не облачаясь в форму, не снимая шляпы, вооруженный той же гибкой тростью, он пройдет перед прусской гвардией и, приподняв кайзера за ворот, с бесконечной беспечностью удерживая его указательным и большим пальцами, аккуратно уложит в подходящее положение и торжественно усядется у него на груди.

Оазисы Смерти

В то время как немецкие пушки обстреливали Амьен, и бушевало всюду сражение тупого пруссачества со Свободой, на британской передовой хоронили Рихтхофена.

Его уложили в большую палатку, поставив сломанную машину снаружи.

Отсюда британские авиаторы отнесли его на тихое кладбище, и он был похоронен среди кипарисов в этом старом месте успокоения многих французских поколений, как если бы он прибыл туда, не нанося ни малейшего вреда Франции.

Пять венков были на его гробе, возложенные теми, кто сражался против него в воздухе. А под венками на крышке гроба был развернут немецкий флаг.

Когда похоронная служба завершилась, эскорт сделал три залпа в воздух, и сотня летчиков воздала последние почести могиле своего самого выдающегося врага; ибо галантность, которую пруссаки изгнали с земли и с моря, жива еще в синих воздушных просторах.

Рихтхофена похоронили вечером, и самолеты вернулись на базу, гудя, когда его хоронили, и немецкие орудия палили всюду, и пушки отвечали им, защищая Амьен. И несмотря на все это, на кладбище было тихо, оно оставалось спокойным и потусторонним, как все французские кладбища. Поскольку они, кажется, не принимают участия в катаклизме,

который сотрясает весь мир, кроме них; они, кажется, отходят среди воспоминаний и остаются в стороне от времени, и, прежде всего, нимало не обеспокоены войной, которая бушует сегодня, на которую они, кажется, вяло поглядывают из-под сени кипарисов и тисовых деревьев, смутно различая вереницу столетий. Они очень странны, эти небольшие оазисы смерти, которые остаются неподвижными и зелеными, их деревья все еще растут посреди опустошения, простирающегося, насколько доступно взору. Здесь города, и деревни, и деревья, и плетни, и фермы, и поля, и церкви – все погибло, здесь расстилается бесконечная пустыня. Как будто Смерть, блуждающая по всей Франции в течение четырех лет, не щадя ничего, признала своей собственностью эти небольшие сады и сохранила только их.

Англо-саксонская тирания

«Нам нужно море», говорит великий адмирал фон Тирпиц, «освобожденное от англо-саксонской тирании». К сожалению, ни Британское Адмиралтейство, ни американский флот не способны узнать, какая часть англо-саксонской тирании осуществляется американскими торпедоносцами, а какая – британскими судами и даже траулерами. Общим странам очень интересно, можно ли это выяснить. Но великий адмирал несправедлив к Франции, поскольку французский флот насаждает тиранию в море, которую ни в коем случае нельзя упускать из виду, хотя, естественно, из-за ее положения перед устьем Эльбы Англия достигает высшей точки невыносимой тирании, удерживая Главный Морской Флот в Канале Киля.

Это не я, а адмирал избрал слово «тирания» как наиболее подходящее для описания действий англо-саксонских флотов. Он произнес речь в Дюссельдорфе 25-ого мая, о чем и сообщили в «Dusseldorfer Nachrichten» 27-ого мая.

Естественно, это не кажется нам тиранией, даже наоборот; но для адмирала, ein Grosse-Admiral, в последнее время командующего Главным Морским Флотом, это, должно быть, куда более волнительно, чем мы можем себе представить – быть заключенным в канале. Ведь он должен был бороздить океаны или, во всяком случае, делать что-нибудь соленое и

навигационное где-то далеко среди штормов того моря, которое немцы называют Океаном; там ураган сердито бушевал бы в его бакенбардах и время от времени вздымал бы их кончики вверх; вместо этого он ограничен в своих действиях таким кругом обязанностей (благородно им исполняемых), которые мог бы с равной легкостью исполнять любой командир парома. Он надеялся на пиратство, началом которого была «Лузитания»; он собирался бомбардировать неисчислимые города; он воображал себе резню во многих рыбацких деревнях; он планировал куда больше того, в чем виновны командующие подлодок; он видел себя убийственным старцем, ужасным мореплавателем, грозой побережий, и представлял себя запечатленным на многие годы в ужасных рассказах на манер историй про капитана Кидда или ужасных пиратов; но кончилось тем, что для него не нашлось ничего более рискованного, чем сидеть и наблюдать за своими судами с причала у Киля подобно одному из ночных сторожей.

Неудивительно, что действия, которые для нас являются не более чем необходимой защитой женщин и детей в прибрежных городах, должны казаться ему невыносимой тиранией. Неудивительно, что охрана судов союзных стран на море и даже караваны нейтральных судов должны в наибольшей степени раздражать амбиции Великого Адмирала, взирающего на все с точки зрения того, кто до седых волос сохранил естественную любовь школьника к черно-желтому флагу. Пираты, скажет он, имеют столько же прав на жизнь,

сколько осы или тигры. Англо-саксонские флоты, он может добавить, неукоснительно следуют в море некоторым правилам; они позволяют женщинам садиться первыми в шлюпки, например, когда корабли тонут, и они спасают тонущих моряков, когда могут: никакого вреда это не причиняет, чувствует он, хотя и ослабляет, как Гинденбург сказал о поэзии. Но если все эти ничтожные правила тиранически предписаны тем, кто может считать их глупыми, что же станется с пиратами? Если бы люди, подобные Битти и Симсу, всегда настаивали на своем, где были бы те удивительные рассказы о веселом испанском владычестве, о людях, идущих по доске в великое синее море, о бесконечно низком и распутном ремесле, о рейдах к далеким гаваням с грузом мужчин и женщин, подвешенных за руки в трюмах? Меланхолия воцарилась в душе великого адмирала фон Тирпица в те годы, которые он провел в болотах между Эльбой и Килем, и в той меланхолии он видит свою мечту сокрушенной; он больше не видит жемчужных сережек и маленьких золотых колец, он видит британские линейные корабли, уничтожающие Испанскую Армаду, и ненавистные американские крейсеры в старом Саргассовом море; он видит себя, увы, последним из пиратов.

Пусть он успокоится. Пираты были всегда. И несмотря на тиранию Англии, Америки и Франции, про которую бедный старик, озадаченный своими неприятностями, совсем позабыл, пираты еще будут. Немного, возможно, но достаточно

подлодок всегда смогут проскользнуть сквозь ту тираническую блокаду, чтобы устроить резню без разбора среди путешественников любой национальности; этого будет достаточно, чтобы поддержать старые традиции убийства на море. И однажды капитан Кидд, с тем же поклоном, который привыкли делать в портах в эпоху испанского владычества, снимет в аду свою древнюю шляпу, сделав широкий галантный взмах, и с гордостью пожмет руку Повелителю Кильского Канала.

Воспоминания

... Далекие вещи

И давние битвы.

Те, кто живет в старом доме, больше обеспокоены платой водопроводчику, если требуется его искусство, или выбором обоев, которые подходят к ситцу, а не традициями, которые могут таиться в коридорах и темных комнатах. В Ирландии, – никто не знает, давно ли она существует, поскольку боги, которые обитали там прежде, чем появился Красный Народец, оставили немного хроник на старых серых ирландских камнях и сделали надписи только на своем собственном языке, – в Ирландии мы больше заняты делом, тем, чтобы Тим Фланаган получил работу, которую он искал.

Но в Америке те, кто помнит Ирландию, запоминали ее частенько со слов старых поколений; возможно, эмигрировал их дедушка, возможно, его дедушка; и Ирландия остается в старых рассказах, бережно хранимых среди них. Тима

Фланагана не вспомнят через год, когда он получил работу, за которую он нас агитировал, и рабочие вопросы, которые тревожат нас, не шевельнут пера в руках Истории.

Но рассказы, которые ирландские поколения передают по ту сторону Атлантики, должны быть рассказами, которые следует запомнить. Это рассказы, которые выдержат высшее испытание, рассказы, которые ребенок будет слушать у камина вечерами; так что они останутся с теми памятливыми вечерами ранних лет, которые из всех воспоминаний жизни уходят последними. Рассказ, которым заслушается ребенок, должен быть по-настоящему великолепным.

Любой дешевый материал подойдет для нас, плохая журналистика и романы о девочках, которые не могут найти работы; но ребенок ищет в рассказе других вещей, простых, благородных, эпических вещей, которые помнит сама Земля. И рассказывают там, за океаном, истории о Сарсфильде и о старой Ирландской Бригаде; рассказывают вечерами про Оуэна Ро О'Нилла. И в тех рассказах снова появляются равнины Фландрии и древние города Франции, города, прославленные в давние времена и известные ныне: давайте будем думать о них как о знаменитых именах, а не как о грустных руинах, нам знакомых, печальных днем и чудовищных в лунном свете.

Многие ирландцы, которые приплывают из Америки в те исторические страны, знают, что старые деревья, которые стоят там, протянули корни далеко в глубину в почве,

когда-то обильно политой ирландской кровью. Когда Бойн был потерян и завоеван, а Ирландия потеряла своего Короля, многие ирландцы, все богатство которых оставалось в ножнах, сочли изгнание решением своего сюзерена. И они прибыли в страны чужих королей и ничего не могли предложить в уплату за гостеприимство, с которым их приняли, кроме меча; и это обычно был меч, которым короли оставались очень довольны. Луи XV заполучил многих из них и был счастлив взять их в Фонтенуа; испанский король допустил их к Золотому Руну; они защищали Марию Терезию. Ланден во Фландрии и Кремона знали их имена. Целый том нужен, чтобы поведать обо всех этих мечах; не одна Муза запомнила их. Это лояльность привела их в дальние края; их Король ушел, они последовали за ним; дуб был сражен, и пожухли листья древа.

Но никакие подобные жалостные метафоры не применимы к людям, которые маршируют сегодня по равнинам, где бывали «Дикие Гуси». Они идут, но не страна оплакивает их, а вся земля приветствует их; они идут к наследным полям битвы. И есть отличие в их отношении к королям: те благородные ирландцы старых времен, бездомные, ушедшие за море, явились как просители, изгнанники, умоляющие о защите перед лицом Великого Монарха, и он, без сомнения, с изящной французской любезностью вернул им все, что они потеряли, кроме того, что было потеряно навсегда, заглаживая, насколько он мог, обиду, нанесенную каждому из них.

Но сегодня, когда сила, в свою очередь, в руках демократий, люди, чьи отцы построили Статую Свободы, оставили свою страну, чтобы возвратить сосланного короля домой и вернуть ему ту власть, которая может исправить ужасное зло, причиненное Фландрии.

И если мужские молитвы слышат, а так многие говорят, старые святые услышат древнюю мольбу, возносящуюся ввысь при свете звезд с некоторой задумчивой, музыкальной интонацией, мольбу, которая давным-давно связала города Лимерик и Корк с полями Фландрии.

Движение

Много лет Элифас Григгс был сравнительно молчалив. Нельзя сказать, что он не разговаривал при всяком удобном случае, когда мог найти слушателей; нет, он говорил, причем очень долго; но много лет он не выступал на встречах с народом и не был частью повседневной жизни северо-восточной окраины Гайд-парка или Трафальгар-сквер. Однажды он возвысил голос в трактире, куда пришел побеседовать о единственном предмете, который был ему дорог. Он подождал, по обыкновению, пока не собралось вокруг пять или шесть человек, а затем начал: «Вы все прокляты, говорю я, прокляты со дня вашего рождения. Ваш удел – Тофет».

И в тот день случилось то, с чем он никогда в жизни не сталкивался прежде. Мужчины обыкновенно выслушивали его вполне терпеливо и немного говорили за пивом, поскольку такова уж английская традиция; и этим все ограничивалось. Но сегодня человек с горящими глазами поднялся, подошел к Элифасу и схватил его за руку. «Они все прокляты», сказал незнакомец.

Это был поворотный момент в жизни Элифаса. До того мгновения он был одиноким чудаком, и люди думали, что он сомнительно выглядит; но теперь их стало двое, и он стал частью Движения. Движение в Англии может делать все, что пожелает: до войны было Движение за уничтожение тюльпа-

нов в Кью-гарденс и за разбивание церковных окон; оно действовало подобно всем прочим.

Имя нового друга Элифаса было Иезекиль Пим: и они составили правила для своего Движения почти сразу; и очень скоро в окрестных харчевнях позабыли про Элифаса. Некоторое время люди скучали по нему в тех местах, куда он имел обыкновение заглядывать вечерами, чтобы сообщить всем о проклятии: а затем один человек начал доказывать, что земля плоская, и все позабыли про Элифаса.

Но Элифас пошел в Гайд-парк и Иезекиль Пим отправился с ним, и там вы могли увидеть их поблизости от Мраморной Арки в любой погожий воскресный полдень. Там они проповедовали основы своего Движения обитателям Лондона. «Вы все прокляты», говорил Элифас. «Ваш удел – проклятие навеки».

«Все прокляты», добавлял Иезекиль.

Элифас был прирожденный оратор. Он мог изобразить вам ад в точности как настоящий.

Он заставлял вас в значительной степени представить, на что это будет похоже: извиваться, вертеться, корчиться и вовек не спастись от огня. Но Иезекиль Пим, хотя он редко говорил больше трех слов, произносил те слова с такой тревожной искренностью, и такое беспредельное убеждение сияло в его глазах, устремленных прямо вам в лицо, и его длинные волосы разлетались так дико, когда голова оратора наклонялась вперед и звучали слова: «Вы все прокляты». Имен-

но Иезекиль Пим объяснял слушателям, что яркие описания Элифаса действительно относились к ним.

Люди, которые ведут дурную жизнь, укрепляют тем самым свою чувствительность. Они не особенно заботились, что там сказал Элифас. Но на девочек из школы, нескольких гувернанток и даже на некоторых молодых священнослужителей эти слова очень сильно подействовали.

Элифас Григгс и Иезекиль Пим, казалось, приближали Ад к своей аудитории.

Вы могли почти почувствовать, как его пламя сжигает Мраморную Арку с двух до четырех часов в воскресенье. И в четыре часа появлялось Сурбитонское отделение Международных Анархистов, и Элифас Григгс и Иезекиль Пим собирали свой флаг и уходили, поскольку место принадлежало сурбитонцам до шести; а чудаки из разных Движений пунктуально соблюдают права друг друга. Если бы они сразились между собой, что уж вовсе невероятно, полиция арестовала бы их; это – та самая вещь, которую анархист в Англии никогда не может себе позволить.

Когда началась Война, два оратора удвоили свои усилия. По их мнению, война была той самой противоположной силой, отвлекающей умы людей от предмета их собственного проклятия так же, как они обращали мысли слушателей к этому важнейшему вопросу. Элифас работал, как никогда не работал прежде; он не спасал никого; но все равно Иезекиль Пим так или иначе приближал к людям эти речи.

В один прекрасный весенний полдень Элифас Григгс говорил в своем обычном месте и в обычное время; он закончил речь просто чудесно. «Вы прокляты», изрек он, «отныне и вовек. Ваши грехи раскрыты. Ваши грязные жизни станут топливом вокруг вас и будут гореть вечно».

«Послушайте», сказал канадский солдат в толпе, «мы не позволим этого в Оттаве».

«Чего?» – спросила английская девушка.

«Ну, говорить нам, что мы все прокляты и все прочее в таком роде», объяснил он.

«О, это – Англия», заметила она. «Они могут здесь говорить все, что пожелают».

«Вы все прокляты», сказал Иезекиль, дергая головой и плечами, пока его волосы не заколыхались сзади. «Все, все, все прокляты».

«Будь я проклят, если так», сказал канадский солдат.

«Ага», сказал Иезекиль, и хитрая улыбка появилась на его лице.

Элифас воспылал: «Ваши грехи припомнят. Сатана посмеется над вами. Он обратит вас в пепел на веки вечные. Горе вам, в грязи живущим. Горе вам, грешникам. Ад – ваш удел. Не останется никого, чтобы горевать о вас. Вы будете жить в муках целую вечность. Ни один не будет спасен, ни один. Горе вечным... О, я прошу прощения, господи, конечно, конечно». Ибо Лига Пацифистов уже собралась и ждала целых три минуты. Сегодня в четыре была их очередь.

Хам от природы

Желание профессора Гротиуса Яна Бика обнаружить или изучить язык больших обезьян выразилось достаточно ясно. Он – не первооткрыватель факта, что у них есть нечто, могущее соответствовать понятию «язык»; и он не первый человек, вынужденный прожить некоторое время в джунглях под защитой деревянных кольев с целью приобрести некоторую информацию о значении различных слогов, которые гориллы, кажется, произносят. Если столь грубое собрание звуков, составляющее меньше сотни слов, вообще может называться языком, следует признать, что Профессор изучил его, как показали его недавние эксперименты. Чего он не доказал, так это утверждения, что он в самом деле беседовал с гориллой, знаками или словесно, или любыми иными средствами достигнув понимания, как он выразился, менталитета крупной обезьяны, или, как выразимся мы, ее точки зрения. Профессор Бик утверждает, что сделал это. И хотя он дает нам некоторое подтверждение, которое делает его историю вполне возможной, нужно запомнить, что оно не имеет силы доказательства.

История Профессора в кратком изложении состоит в том, что, осваивая этот язык, который никто из свидетелей его экспериментов не назовет сомнительным, он возвратился в джунгли на неделю, живя все время в клетке для исследова-

теля модели Бика. К самому концу недели доставили большую гориллу мужского пола, и Профессор привлек ее одним словом: «Продовольствие». По его словам, животное подошло близко к клетке, судя по всему, приготовившись поговорить, но очень рассердилось, увидев там человека, ударило по прутьям клетки и ничего не сказало. Профессор рассказывает, что он спросил самца, почему тот разозлился. Он признает, что узнал не больше сорока слов из этого языка, но полагает, что есть, возможно, еще тридцать. Многое, однако, выражается, как он говорит, просто интонацией.

Гнев, например, и множество сходных по значению слов, типа ужасный, пугающий, убийственный, будь то существительные, глаголы или прилагательные, выражаются, как он говорит, простым рычанием. Нет слова для «почему», но вопросы передаются понижением тона.

Когда он спросил, почему животное разозлилось, горилла сказала, что люди убили ее, и добавила шум, который, по предположению профессора, содержал ссылку на оружие. По его свидетельству, единственное слово, которое горилла использовала в своем замечании, было слово со значением «человек». Предложение, насколько понял профессор, состояло в следующем: «Человек убить меня. Оружие». Но слово «убить» было представлено просто рыком, «меня» – ударом в грудь, а «оружие», как я уже объяснил, оказалось только шумом. Профессор полагает, что в конечном счете слово «оружие» могло быть развито из того шума, но дума-

ет, что потребуются много столетий, и если в течении этого времени оружие перестанут использовать, стимул исчезнет, слово никогда не сложится вообще, и конечно, в нем не будет необходимости.

Профессор пытался, проявляя интерес, невежество, сомнение и даже негодование, принудить гориллу сказать еще что-нибудь; но к его разочарованию, тем более интенсивному, что одним словом он все-таки обменялся с животным, горилла только повторила то, что уже сказала, и снова ударила по клетке. Это продолжалось в течение получаса: профессор демонстрировал всевозможные признаки симпатии, горилла бушевала и билась о клетку.

Это были тридцать минут самого интенсивного волнения для профессора; в течение этого времени он видел воплощение мечты, которую многие считали безумной, видел, как мечта оказалась в пределах досягаемости, и все время тупая горилла только и делала, что повторяла простой отрывок предложения и била по клетке огромными руками; и жара, конечно, усиливалась. К исходу получаса волнение и высокая температура, кажется, уничтожили лучшие черты характера Профессора, и он отмахнулся от отвратительного скота сердитым жестом, который, вероятно, оказался немногим менее нетерпелив, чем собственные жесты гориллы. И после этого животное внезапно стало разговорчивым. Оно еще неистовее, чем раньше, бросилось на клетку, просунуло огромные пальцы между прутьями, пытаясь дотянуться до

Профессора, и обезьянья болтовня потекла рекой.

Ну почему люди стреляют в него, спросил зверь. Он сделал себя ужасным, поэтому люди должны любить его. Начался настоящий шквал того, что Профессор называет аргументацией. «Я, я ужасный», два удара в грудь и затем рычание. «Человек любить меня». И затем решительное отрицание, и звук, который означал оружие, и внезапная ярость, бросок к клетке, чтобы добраться до Профессора.

Горилла, как объясняет Профессор Бик, очевидно восхищалась только силой; всякий раз, когда животное произносило: «Я сделаюсь ужасным для Человека», предложение, которое оно часто повторяло, оно вытягивалось, выпячивало огромную грудь и обнажало ужасные зубы; и конечно, говорит Профессор, было нечто ужасно великое в угрожающем звере. «Я ужасный», повторялось снова и снова, «я ужасный. Небо, солнце, звезды со мной. Человек любить меня. Человек любить меня. Нет?» Подразумевалось, что все великие силы природы помогали ему и его ужасным зубам, которые он неоднократно демонстрировал, и что поэтому человек должен любить его; и зверь широко раскрыл свои челюсти, пока это говорил, показывая всю их ужасную силу.

Здесь, по моему мнению, и кроется основной недостаток истории Профессора Бика; он был, очевидно, намного больше заинтересован в другом: он действительно беспокоился об ужасном искажении точки зрения этого животного, или менталитета, как он назвал это, и не слишком интересовался

тем, действительно ли мы поверим тому, что он сказал.

Но я упомянул, что есть обстоятельство в его истории, делающее все происшедшее вероятным и даже убедительным. Оно таково. Профессор Бик заметил тогда пулевое ранение на кончике левого уха гориллы, посредством которого животное удалось идентифицировать, сделал анализ менталитета в письменной форме и показал его нескольким коллегам, прежде чем он каким-то образом объяснил, как у животного сложилась такая точка зрения.

Много времени спустя со всей определенностью установили, что это животное было поймано молодым на склонах Килиманджаро и обучено и даже образовано, насколько такие вещи возможны, выдающимся немецким профессором, *persona grata* в Суде Берлина.

Дом герра Шнитцельхассера

Пушечные залпы в городе Грайнштейне звучал тихо. Семейство Шнитцельхассеров жило здесь в трауре – старик и старуха. Они никогда не делали визитов и не виделись ни с кем из знакомых, потому что знали, что не смогут говорить так, как будто не носят траур. Они боялись, что их тайна будет выдана. Они никогда не интересовались войной, которую устроил Бог Войны. Они уже не интересовались, что он сделает дальше. Они никогда не читали его речей; они никогда не вывешивали флагов, когда он требовал флагов: они не могли собраться с силами.

У них было четверо сыновей.

Одинокая старая пара не ходила дальше, чем в магазин за продуктами. Голод преследовал их. Они весь день сражались с голодом, и потом наступал вечер; но они ничего не могли сэкономить. В противном случае они не выходили вообще. Голод медленно приближался с наступлением темноты. У них не было ничего, кроме пайков, и пайки становились все меньше. У них была собственная свинья, но закон гласил, что ее нельзя убить. Так что свинья не имела для них смысла.

Они частенько ходили посмотреть на эту свинью, когда голод особенно наседавал.

Но на большее они не смели решиться.

Голод подходил все ближе и ближе. Война должна была закончиться первого июля. Бог Войны собирался взять Париж в этот день и сразу покончить с войной. Но тогда война всегда подходила к концу.

Она подходила к концу в 1914-м, и их четыре сына должны были вернуться домой, когда падали листья. Бог Войны обещал это. И даже если она кончится, это не вернет теперь домой их четверых детей. Так что какое имеет значение, что там сказал Бог Войны.

Они знали, что должны скрывать подобные мысли. Именно из-за таких мыслей они не доверяли себе, не могли выходить и видеть других людей, поскольку они боялись, что своей внешностью, или своим молчанием или, возможно, своими слезами, они могли бы нанести оскорбление его Высочайшему. А голод сделал людей такими подозрительными... Мало ли что могут сказать? И они оставались в закрытом помещении.

Но теперь... Что случится теперь? Бог Войны прибыл в Грайнштейн, чтобы послушать пушки. Один офицер из штаба должен поселиться в их доме. И что случится теперь?

Они обговорили все это. Они должны бороться и прилагать усилия. Офицер пробудет здесь только один вечер. Он уедет утром, очень рано, чтобы подготовиться к возвращению в Потсдам: он отвечал за императорскую машину. Так в течение одного вечера они должны быть веселы. Они должны представить, это предложил герр Шнитцельхассер, они

должны думать весь вечер, что Бельгия, Франция и Люксембург все вместе атаковали фатерлянд, и что кайзер, абсолютно неподготовленный, совершенно неподготовленный, обратился к немцам с просьбой защитить страну от Бельгии.

Да, старуха могла вообразить это; она могла думать об этом весь вечер.

И затем – это возможно только в веселом расположении духа, – нужно вообразить немного больше, только на один вечер: это будет очень легко; нужно представить, что все четыре мальчика живы.

Ганс тоже? (Ганс был самым младшим).

Да, все четверо. Только на один вечер.

Но если офицер спросит?

Он не станет спрашивать. Что такое четыре солдата?

Так что все было устроено; а вечером прибыл офицер. Он принес свой собственный паек, так что голод не приближался больше. Голод только остановился за дверью и не замечал офицера.

За ужином офицер начал говорить. Сам кайзер, он сказал, был в Шартцхаузе.

«Так», сказал герр Шнитцельхассер, «прямо по пути». Так близко.

Такая честь.

И действительно, тень Шартцхауза заслоняла их сад по утрам.

Это была такая честь, сказала и фрау Шнитцельхассер. И

они начали хвалить кайзера. Как велик Бог Войны, сказала она; самая великолепная война, какая когда-либо была.

Конечно, сказал офицер, она закончится к первому июля.

Конечно, сказала фрау Шнитцельхассер. И как велик адмирал.

Нужно помнить и об этом. И как мы счастливы, что у нас есть он: нельзя забывать об этом. Если бы не он, лукавые бельгийцы напали бы на фатерлянд, но они были уничтожены прежде, чем смогли сделать это. Намного лучше предотвратить злое дело, гораздо лучше, чем просто наказать за него. Так мудро. И если бы не он, если бы не он...

Старик увидел, что она не могла продолжать, и торопливо подхватил лихорадочную похвалу. Лихорадочной она была из-за их голода, и ужасная потеря воздействовала на их умы не меньше, чем болезнь, и все, что они делали, делалось торопливо и несдержанно. Его похвалы Богу Войны следовали одна за другой, пока офицер ел. Он говорил о нем как об одном из тех замечательных людей, об одном из монархов, которые приносят счастье своим подданным. И теперь, он сказал, кайзер здесь, в Шартцхаузе, рядом с нами и слушает орудейные залпы так же, как обычный солдат.

Наконец орудия, как он и сказал, закашляли над зловещими холмами.

Все это время офицер продолжал есть. Он не подозревал, что таилось в мыслях его хозяина и хозяйки. Наконец он отправился наверх в постель.

Жестокость легко может довести до лихорадки, так могут подействовать и речи; и это измучило их, так что они устали. Старуха заплакала, когда офицер вышел. Но старый герр Шнитцельхассер взял большой мясницкий нож. «Я больше не могу этого вынести», сказал он.

Его жена молча наблюдала, как он шел, держа в руках нож. Он вышел из дома и скрылся в ночи. Через открытую дверь она не видела ничего; все было темно; даже Шартцхауз, где так веселились сегодня вечером, стоял затемненным из страха перед аэропланами. Старуха ждала в тишине.

Когда герр Шнитцельхассер вернулся, на его ноже была кровь.

«Что ты сделал?» совершенно спокойно спросила его старуха. «Я убил нашу свинью», ответил он.

Она тогда вспыхнула еще сильнее из-за долгого притворства вечером; офицер, должно быть, услышал ее.

«Мы пропали! Мы пропали!» зарыдала она. «Не следовало убивать нашу свинью. Голод сделал тебя безумным. Ты погубил нас».

«Я не мог больше выносить этого», сказал он. «Я убил нашу свинью».

«Но они никогда не позволят нам съесть ее», закричала она. «О, ты погубил нас!»

«Если ты не решалась убить нашу свинью», сказал он, «почему не остановила меня, когда увидела, куда я иду? Ты видела, что я шел с ножом?»

«Я думала», сказала она, «что ты собирался убить кайзера».

Милосердие

Когда Гинденбург и кайзер спускались, как мы читали, с Mont d'Hiver во время недавнего наступления, они увидели на краю воронки двух раненых британских солдат. Кайзер приказал, чтобы о них позаботились: их раны были перевязаны, им дали бренди и привели в сознание. Таков немецкий отчет об этом событии, и он вполне может быть истинным. Это был акт любезности.

Вероятно, не случись этого, два человека умерли бы среди тех пустынных воронок; никто об этом не узнал бы и никого не смогли бы в этом обвинить.

Контраст этой искры имперской доброты с мраком той войны, которую кайзер начал, приятно наблюдать, даже при том, что он освещает только на мгновение дикую темноту, в которую погружены наши дни. Это доброе дело, вероятно, ему надолго запомнится. Даже мы, его враги, запомним это. И кто знает, может быть, тогда, когда больше всего он будет нуждаться в этом, награду за свой поступок он получит.

Ведь Иуда, говорят, однажды в юности из сострадания дал свой плащ дрожащему нищему, который сидел, истерзанный лихорадкой, в тряпье, в отчаянной нужде. И годы прошли, и Иуда забыл о своем поступке. И намного позже, в Аду, Иуде, говорят, давали отдых на один день в конце каждого года – за это доброе дело, которое он совершил так давно в юности.

И каждый год он встает, говорят, в этот день и остужает тело среди арктических гор; один раз в год, столетие за столетием.

Возможно, какой-нибудь моряк на вахте в туманный вечер, унесенный далеко от курса к северу, увидел нечто призрачное однажды на плывущем мимо айсберге или услышал в полумраке какой-то голос, который походил на голос человека, и вернулся домой с этой сверхъестественной историей. И возможно, поскольку история переходила от рассказчика к рассказчику, люди нашли в ней достаточно правосудия, чтобы увериться в истинности происшедшего. Так рассказ о милосердии пережил многие столетия.

Увидит ли мореплаватель столетия спустя тусклым октябрьским вечером или ночью, когда луна в тумане кажется зловещей, – красной, огромной и странной, одинокую фигуру в самой пустынной части моря, далеко к северу от того места, где затонула «Лузитания», фигуру, вбирающую в себя весь холод, какой возможно? Увидит ли, как она обнимает скалу айсберга бледного, подобно ей самой, увидит ли, как шлем, панцирь и лед бледно синеют, сливаясь в тумане? Фигура взглянет на них ледяными синими глазами сквозь туман, и усомнятся ли они, встретив чужака в тех суровых морях? Будет ли ответ – или северный ветер будет выть, заменяя голоса? Будет ли слышен Крик Печатей, и раскол плавающих льдин, и вопли странных птиц, потерявшихся в ветре той ночью, или он заговорит с ними в те далекие годы и поведает им, как грешил, предавая человека?

Мрачная, темная история прозвучит в той одинокой части моря, когда он признается морякам, унесенным слишком далеко на север, какой ужасный он устроил заговор против человека. Время и день, когда его увидят, будут передаваться от моряка моряку. В подозрительных тавернах в отдаленных гаванях хорошо запомнят все это.

Немногие пожелают выйти в море в тот день, и немногие рискнут среди скал населенного призраками моря отдаться на волю капризам погоды в ночь кайзера.

И все же, несмотря на мрачность бледно-синего фантома, с панцирем и шлемом, с глазами, мерцающими среди смертоносных айсбергов, и все же, несмотря на горе, причиненное им мужчинам, утонувшим женщинам и детям, и всем погибшим добрым кораблям, все же не будут испуганные моряки, встретив его в тумане в любой момент дня, который он заработал, проклинать его; прохлада, которую он получает от ледяных гор, оправдана добротой, которую он проявил к раненым людям. Ибо моряки в душе – хорошие люди, и то, что душа извлекает пользу из своей доброты, покажется им вполне заслуженным.

Самая последняя сцена

После того, как Джон Каллерон был ранен, он оказался в своего рода сумерках разума. Все вокруг стало светлее и спокойнее; резкие очертания стерлись; воспоминания пришли к нему; слышалось в его ушах пение, подобное отдаленным звонам. Вещи казались более красивыми, чем они были только что; для него это было то же, что для всего мира – вечер после какого-то тихого заката, когда лужайки, и кусты, и лес, и какой-нибудь старый шпиль прекрасны в последних солнечных лучах, когда все возвращаются в прошлое. Так уходил и он, смутно различая предметы. И то, что иногда называется «гулом сражения», те воздушные голоса, которые рычат, и стонут, и скулят, и бушуют в солдатах, тоже стали спокойнее. Это все казалось еще дальше и меньше, представлялось как нечто очень удаленное. Он все еще слышал пули: есть кое-что настолько яростное и острое в свисте пуль, пролетающих мимо с короткими промежутками, что вы слышите их, будучи погружены в самые глубокие размышления и даже во сне. Он слышал, как они рвутся, слышал прежде всего. Остальное казалось более слабым, и глухим, и меньшим, и далеким.

Он не думал, что был так уж сильно ранен, но ничто, казалось, не имело значения, какое имело совсем недавно. Все же он потерял сознание.

А затем он очень широко открыл глаза и увидел, что снова оказался в Лондоне в подземном поезде. Он сразу узнал это место, только разок взглянув.

В давние времена он сотни раз путешествовал в этих поездах. Он знал, судя по темноте снаружи, что поезд еще не выехал за пределы Лондона; но что было еще страннее, если задуматься, так это точное знание, куда шел поезд. Это был поезд, который шел в те края, где он жил в детстве. Он был уверен в этом без малейших раздумий.

Когда он начал размышлять, как туда попал, то вспомнил войну как нечто очень давнее. Он предположил, что очень долго пробыл без сознания. Теперь он в полном порядке.

Другие люди сидели рядом с ним на том же самом сидении. Они походили на тех, кого он помнил с давних-давних пор. В темноте напротив, за окнами поезда, он мог ясно видеть их отражения. Он смотрел на отражения, но не мог все вспомнить окончательно.

Слева от него сидела женщина. Она была совсем юной. Она походила на кого-то, кого он помнил гораздо лучше, чем всех остальных.

Он пристально глядел на нее и пытался очистить сознание.

Он не поворачивался и не глазел на нее, но спокойно наблюдал за ее отражением в темном стекле. Все детали ее платья, ее молодое лицо, ее шляпа, маленькие украшения, которые она носила, идеально высвечивались перед ним, воз-

никакая из темноты. Она выглядела такой счастливой; можно было сказать, что она равнодушна к войне.

Пока он пристально глядел на ясное спокойное лицо и платье, которое казалось опрятным, хотя старым и, подобно всем вещам, таким далеким, его разум становился все яснее и яснее. Ему отчего-то показалось, что это было лицо его матери, но тридцатилетней давности, из старых воспоминаний и с одной картины. Он чувствовал уверенность, что это его мать, какой она была в годы его раннего детства. И все же через тридцать лет как он мог быть в этом уверен? Он еще раз попробовал вспомнить и укрепился в своем мнении. Но как она оказалась здесь в таком виде, из тех самых старых воспоминаний, он вовсе не задумывался.

Он, казалось, был чрезвычайно утомлен многими вещами и не хотел задумываться.

Все же он был совершенно счастлив, даже более счастлив, чем утомленные люди, только что пришедшие домой, чтобы отдохнуть.

Он глядел и глядел на лицо в темноте. И затем он окончательно убедился в собственной правоте.

Он собирался заговорить. Может, она посмотрела на него? Смотрит ли она на него, снова задался он вопросом. Он впервые глянул на свое собственное отражение в том ясном ряду лиц.

Его отражения там не было, не было ничего, кроме пустого темного промежутка между двумя его соседями. И тогда

он понял, что уже мертв.

Старая Англия

В конце зимы на открытой всем ветрам огромной равнине на юге Англии пахал Джон Пахарь. Он вспахивал коричневое поле на верхнем склоне холма, вспахивал хорошую глинистую почву; несколькими ярдами ниже был только мел с каменистой почвой и слишком крутой склон, чтобы пахать; так что там могли расти колючие кустарники. Ибо поколения его предков пахали только в верхней части того холма. Джон не знал, с каких пор. Холмы были очень стары; это могло быть всегда.

Он едва оборачивался, чтобы взглянуть, прямо ли идет борозда. Работа, которую он делал, настолько вошла в его кровь, что он мог почти чувствовать, были ли борозды прямыми или нет. Год за годом они передвигались по тем же самым старым вехам; колючие деревья и колючие кустарники главным образом направляли плуг там, где они стояли на непаханой земле; деревья росли и старели, и тем не менее различия в ширине борозд не достигали размеров лошадиного копыта.

Джон, пока он пахал, мог на досуге размышлять о многом, помимо зерновых культур; он так много знал о зерновых, что его мысли могли легко удалиться от давно знакомых посевов; он частенько размышлял о тех, кто жил в колючем кустарнике и среди колючих деревьев, о тех, кто танцевал,

как говорили люди, в летнюю полночь, иногда благословляя, а иногда вредя зерновым. Ведь Джон знал, что в Старой Англии были замечательные древние вещи, более странные и давние, чем полагали многие люди. И его глаза могли на досуге различить многое, кроме борозд, поскольку он мог почти ощутить, что борозды идут ровно.

Однажды в день пахоты, когда он наблюдал за терновником впереди, он увидел большой холм за деревьями, обращенный на юг, и равнины у его подножия; в один день он увидел в лучах яркого солнца всадника, едущего по дороге через обширные низины. От всадника исходило сияние, он носил белое сверкающее полотно, а на полотне был вышит большой Красный Крест. «Один из тех рыцарей», сказал себе или своей лошади Джон Пахарь, «идуший к тем крестносцам». И он продолжал работать весь день, вполне удовлетворенный, и запомнил то, что увидел, на долгие годы, и поведал своему сыну.

Ибо есть в Англии, и всегда было, смешанное с необходимыми вещами, которые кормят или защищают народ, непреходящее сочувствие всему романтическому, проникающее глубоко и странно во все прочие мысли, как Гольфстрим вливается в море. Иногда поколения семейства Джона Пахаря уходили в прошлое, и ни единого возвышенного романтического события не происходило, чтобы насытить это чувство.

Они все равно работали, хотя немного мрачно, как если

бы некой хорошей вещи им не доставало. А затем начались крестовые походы, и Джон Пахарь увидел, что рыцарь Красного Креста ехал к морю утром, и Джон Пахарь был доволен.

Несколькими поколениями позже человек с тем же именем пахал тот же самый холм. Они все еще пахали коричневую глину наверху и оставляли склон диким, хотя совершилось много перемен. И борозды все еще были чудесно прямыми. И он пахал, вполглаза наблюдая за терновником впереди и вполглаза рассматривая весь холм, обращенный на юг, и лежащие дальше равнины, за которыми простиралось море. Теперь внизу, в долине, появилась железная дорога. Солнечный свет, блестящий в конце зимы, отражался на поезде, который был отмечен большими белыми квадратами и красными крестами на них.

Джон Пахарь остановил лошадей и посмотрел на поезд. «Санитарный поезд», сказал он, «идет с побережья». Он подумал о парнях, которых знал, и задался вопросом, нет ли в поезде кого-нибудь из них. Он жалел людей в том поезде и завидовал им. И затем ему в голову пришла мысль о могуществе Англии и о том, как те люди поддержали его в море и в гибнущих городах. Он думал о сражениях, эхо которых достигало иногда того поля, нашептывая бороздам и терновникам то, чего они никогда не слышали прежде. Он думал о жестокой силе проклятого тирана и о парнях, которые сражались с ним. Он видел романтический блеск английского могущества. Он был стар, но видел чудо, которого жаждало

каждое поколение. Испытывая сердечное удовлетворение и приветствуя новую мысль, он снова занялся своим вековым делом – делом человека и холмов.

От переводчика

Тексты этого сборника отражают патриотический настрой, царивший в английской литературе в 1914–1916 гг. С точки зрения «чистого искусства» Дансени по-прежнему эффектен, но сужение тематики не прошло бесследно. Пожалуй, наиболее устаревшая книга писателя, представляющая тем не менее значительный историко-культурный интерес. Но в сравнении с «Лучниками» Артура Мэйчена, «Рассказы о войне» более самостоятельны; это не журнальная словесность, а своеобразная лирика, «стихотворения в прозе» военного времени.

«Последняя книга чудес» переведена, но по некоторым причинам выкладывать перевод я не спешу. В ближайших планах – прямое продолжение «Рассказов о войне» – «Далекое несчастье» – и сборник «Время и боги». Так что Дансени когда-нибудь и впрямь будет весь.

Приятного чтения. АС.

© А. Ю. Сорочан (bvelvet@rambler. ru), перевод, 2003-2005